

Илья Крупник



Я

Время жалеть

Сочинения разных лет

Илья Крупник
Время жалеть (сборник)

«Этерна»

2010

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Крупник И.

Время жалеть (сборник) / И. Крупник — «Этерна», 2010

ISBN 978-5-480-00238-6

В новый сборник Ильи Крупника вошли повести и рассказы, написанные в разное время и по-разному (самые поздние в 2007–2010 годах). Одни реалистичны, в других реальность переплетается с фантазмагорией, в третьих – осязаемы антиутопия и притча. Это, казалось бы, странный мир, иногда почти сюрреальный, но совершенно зримый, насыщенный небанальными, точными деталями. А в сущности, это наш с вами парадоксальный мир, в котором мы жили и живем. Сочинения Крупника очень человечны в отличие от преобладающей сегодня холодной аналитичности. Читатель, сам того не замечая, становится собеседником автора и его героев с их чувствами, переживаниями, взлетами и падениями, психологией и метафизикой.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-480-00238-6

© Крупник И., 2010
© Этерна, 2010

Содержание

Город Делфт	5
Время жалеть	21
Снежный заряд	26
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Илья Крупник

Время жалеть. Сочинения разных лет

Город Делфт

1.

Дом был двухэтажный длинный, голубого, пожалуй, цвета, но потускнел, облупился, в белых пятнах, а внизу под окнами выглядывали даже кирпичи. Ко всему он был (стал?) косою, явно сползал в тротуар справа налево, и два последних левых окна глядели на меня точно из подвала.

Адрес такого вот дома, где сдавалась комната, подсказал студент семинара, который я вел на истфаке как аспирант, замещая больного профессора. Однако для меня, человека здесь недавно живущего, даже этакая крыша над головой была удачей. Город был областной, но в марте случилось землетрясение, и оставались еще развалины.

Входная дверь оказалась сразу у окон «из подвала», над ней старая табличка «Дом подключен к Интернету». Но тут же заметил я, что дверь заколочена загнутыми гвоздями. Возможно, надо идти со двора.

Рядом высокая арка. Вошел во двор, заросший сорной травой. Но вот и черный ход, в тамбуре лестница на второй этаж, и я ощупью – внизу в коридоре у них хоть глаза выколи (лампочки где?!) – пошел вперед мимо закрытых с обеих сторон квартир.

Я шел, скрипели подо мной пологие доски пола, идти, как он сказал, до самого конца. Но люди где? Все на работе?.. Дошел наконец, кажется; постучал и потянул за дверную ручку.

На пороге комнаты стоял чернявый щупленький мальчик лет шестнадцати, смотрел на меня исподлобья.

– Я Павел Викентьевич, – пояснил я, улыбаясь дружески, – из университета. Здравствуйте. Дома хозяин?

– Я хозяин, – не улыбаясь сказал мальчик, очень внимательно меня разглядывая черными, выпуклыми глазами. – Я Георгий, – отчетливо, на равных, объяснил он мне.

Вот такое и было наше знакомство с Гариком. Как он рассказал потом, четыре месяца жил он один, мать похоронили, отец исчез неизвестно куда, сам он учился в технологическом колледже, но жить-то надо на что-то, да и плохо одному.

Комната была для меня с отдельным ходом, а окно в тротуар. К окну вдоль стенки тахта широкая. В другом углу стол письменный с телефоном, платяной шкаф, не доходя до Гариковой двери. Даже ковер, картины. Родителей явно комната.

– Великолепно, – сказал я Гарику. – Просто великолепно! Будем жить.

2.

Мой семинар был раз в неделю, его тема – о Смутном времени XVII века. Одним из самых ранних конкретных источников, какие рекомендовал я студентам, были даже, к примеру, «Краткие известия о Московии» Исаака Массы, голландского купца, который оказался именно в тот период в наших краях.

Но студенты мои, честно говоря, не очень-то меня почитали и слушали. За глаза, это хорошо я знаю, называли меня просто Павлушей, девчонки кокетничали. Да ведь и был я не

очень намного их старше, к тому же собственные мои имя и отчество всегда не нравились мне самому.

Ну вот вы представьте: Павел Ви-кен-тье-вич. Явно в очочках, если уже не в пенсне, нос острый, лицо узкое, губы ниточкой, пиджачок и галстук. В общем, сухарь явный и во всем педант. А Павлуша?.. Это действительно я. Нос мой курносый, лицо, в общем, блином, и рыжеватый, и веснушки мои... Короче, увы, Павлуша. Да еще улыбаюсь не к месту, а вот это беда, собственным мыслям.

Вчера, например, завкафедрой – дама величественная, прямо Екатерина Вторая, но вся седая и вьедливая, отчитывала меня, что на семинар ко мне в четверг пришел только один человек. А я, не склонив даже повинную голову, ей улыбнулся не к месту, ибо этот человек был Гарик, о чем не доложили, слава Богу.

Потому что Гарик все норовил теперь почаще быть со мною и звал меня «дядя Павлуша». Да и сам я привязался к нему. Родители, мама и отчим, далеко, в этом городе знакомых у меня не было, на кафедре всем чужой, а тут единственная родная душа рядом, кому нужен дядя Павлуша.

Я рассказывал ему, словно студентам, самые любопытные, как представлялось мне, события XVII века из Ключевского, а он мне о каких-то новых жильцах, поселившихся в доме, и о том, что в городе сейчас происходит, о разных слухах. Он узнавал обо всем из Интернета.

Той ночью я проснулся от непонятного звука: что-то двигалось издали прямо на меня, на мою тахту, приближалось с гулом и грохотом. Тахта моя закачалась, и под ней, под полом вдруг прокатился в вихре, будто в туннеле, поезд.

– Дядя, дядя Павлуша!.. – Гарик, едва не падая, вбежал ко мне из своей комнаты. Он сидел уже рядом, обнимая меня, он весь дрожал. – Это не поезд, не поезд, дядя Павлуша!

– Да, конечно, откуда под нами поезд. Землетрясение.

– Но, дядя Павлуша, оно совсем, вообще не такое было!

3.

Когда утром я вышел во двор, вокруг домов не было.

Наш угловой двухэтажный стоял, как прежде, не хватало только дворовой решетки, а вместо самого переулка – обширнейшее пространство с железными то там, то тут скелетами этажей и кирпичными грудями. Такое я видел только в кино о войне.

– Я говорил тебе, говорил, – теребил меня Гарик, мы шли с ним в центр что-нибудь выяснить, расспросить, – говорил тебе, что вместо наших жильцов поселились у нас какие-то, может, они из другого места, где хуже, какие-то люди...

Мы шли, а город был почти пустой, прохожие попадались так редко и скрывались тут же вдалеке. Ближе к центру, правда, особых разрушений не было. Но нигде никаких призывов городских властей, объяснений, предупреждений, объявлений на щитах, вместо реклам, я все искал, вертел головой, но не увидел ничего.

– Гарик. – Я остановился. – Узнать бы, как там мой профессор на даче. Я навещал его три дня назад больного. А телефон теперь не отвечает и Интернет у него не работает.

К этой северной окраине города (собственно говоря, это был уже пригород) почти вплотную подходил хвойный лес. Прерывался большой поляной, а дальше снова лес, дачный поселок. Там и жил мой профессор на даче, Буразов Николай Дмитриевич.

Когда мы с Гариком подошли к поляне, перед ней оказалась высокая очень ограда в обе стороны из колючей проволоки сплошную. Открылась дверца будки – ни ограды, ни будки не было три дня назад, – вышли два охранника в камуфляже.

– Назад! – приказал, разглядывая нас и подходя все ближе, первый с опухшим красным лицом. – Кто такие? Что, не знаете распоряжения?! За город хода нет.

– Это какое, – я спросил, – мы не знали ничего, распоряжение?

Не отвечая, он ухмыльнулся и сплюнул, и оба они, не торопясь, повернули от нас к будке.

– Дядя Павлуша, – зашептал Гарик, – давай пойдем тихо назад через лес. – Черные глаза его прямо-таки сияли: приключение! – А где-нибудь дальше попробуем. Мы пролезем, дядя Павлуша, мы пролезем!

«Пролезем... – подумал я. – Небошь, за поляной тоже наблюдают. Или нет?.. И будка не одна, наверное. Ну...»

– Эх, была не была! – я сказал. – Идем. И старик там как... Пошли.

Мы тихонько крались между деревьями и, точно, под проволокой вот был лаз. Кусты почти вплотную подходили к ограде, а за ней тоже были кусты, так что не углядеть охране. Кто-то подкопал яму. Лежала рядом широкая доска, чтобы поднимать нижние ряды проволоки, а сама яма устлана была газетами.

Это очень было удачное место: за проволокой тоже кусты и почти разрушенные сараи без крыш и без дверей. Прямо за ними можно неприметно обогнуть поляну, уйти в лес.

4.

– Что? – переспросил профессор. – Куда уезжаю? В Женеву, на конференцию.

Я стоял у двери, смотрел на него во все глаза.

Мой старик, седой, редковолосый, в голубых молодежных джинсах, в мохнатой безрукавке, в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, складывал аккуратно в распахнутый на столе чемодан что-то плоское в целлофане, клеенчатые папки, перекладывал, надавливал, чтоб поместилось.

Это был никакой не старик! Крепкий, быстрый, хотя ему ведь стукнуло уже шестьдесят! Ведь уже стукнуло! Да и болен он был, и, правда, ходить не мог.

– Это чудо, – словно отвечая мне, он повернулся к нам, Гарик уже выглядывал у меня из-за спины. – Это чудо! Помог комплекс в конце концов, замечательное это лекарство. Суставы не болят, тьфу-тьфу.

– Ох, от души! – сказал я. – Слава Богу.

Ведь еще только три дня назад действительно несчастный, он полулежал, но не в кресле, а на стуле с подушкой, так легче, запахнув халат, вытянув больные ноги, старый-старый, бедный мой старик.

– Ну что ж, ребята дорогие, что ж, – печально сказал профессор Николай Дмитриевич, – будем прощаться. За мной заедут. Получается, могу как-то ходить, но, если честно, еще не очень ловко себя чувствую, а вдруг опять, нет, тьфу-тьфу. Отсюда раньше, вы ж знаете, Павел, в город пешком, моя прогулка, каждый день, сколько сил прибавляет. Но... Павел, телефон у меня отключили, в ближайшее время меня уволят, это абсолютно ясно, благо предлог – на пенсию. Но отсюда сейчас в город и хода нет. Здесь уже всем объявили. Но это лишь начало, не то еще будет. Стоп, погодите, а как же вы, Павел? Павел, у вас с собой документы, паспорт, еще что,граничный?

– Теперь я, Николай Дмитриевич, все документы с собой ношу.

– И у меня паспорт, – выступил вперед Гарик. – И меня возьмите, возьмите меня отсюда! Как племянника, может...

5.

В город назад через лес мы шли молча. Гарик шел позади, а я, как виноватый (по его, мальчишки, представлениям), сам, мол, должен теперь отыскивать лаз, хотя я никак не чувствовал себя виноватым, что отказался с профессором ехать. При этом он говорил, что можно

быстро сейчас уладить все формальности. Понятно, что и у «племянника» завлекательная поездка также лопнула.

Но только зачем, для чего мне ехать?..

Профессор мог преподавать что угодно, нашу, античную, даже чуть ли не историю европейских костюмов. И знал профессор четыре языка.

А я... Для меня в жизни другого ничего не было. Ну как сказать мне проще, ведь никакая это не патетика, – не было другого, я чувствую так, не было, кроме моего призвания. Это правда, это моя жизнь.

– Да они ж балбесы, – мне выдавал, когда вышли из дачного поселка, Гарик, – им не нужно ничего, они не ходят на твои семинары любимые, ничего им знать не обязательно, им все равно!..

Я не отвечал. Потому что все это неправда, всегда, во все времена существуют серьезные люди, да кто этого не знает! Их просто меньше, как всем известно. И вот то, что я могу, куда важнее здесь, чем там.

Мы уже прошли наконец позади сараев, но где лаз, было непонятно. Там, за проволокой, из гущи почти вплотную стоящих деревьев прорывался лишь цокот белки.

– Я проверю, – сказал Гарик. Он стал на четвереньки и пополз в кусты. – Его здесь нет, и здесь, и здесь нет. А вот он! Я лезу первым, а ты подожди немного.

Я сидел на примятых кустах и ждал.

И вдруг услышал. Закричал Гарик, его ударили явно и начали избивать!.. А потом этот человек – похоже, он был один – потащил Гарика куда-то вправо, совсем не к будке.

Не помня себя, я торопливо пролез и пошел тоже в ту сторону, словно иду я от города, вдоль ограды.

– Не видели мальчика? Мальчика? Он тут баловался просто. Мальчик...

– Какой еще мальчик? – Загораживал мне проход худой, с рыжими усиками человек в камуфляже и с автоматом. – Никого тут не было. Мальчика? Никакого.

6.

Ночью я вставал и подходил к двери в комнату Гарика. Прислушивался. Потом тихонько приоткрывал дверь.

Все это время, когда просыпался постоянно, было явное ощущение, что Гарик у себя спит, что я не один в квартире.

Я стоял у двери и смотрел в темноту. Слушал. Дыхания спящего не было.

Не было, не было, не было.

Сколько я ходил повсюду, узнавал везде, – о нем никто не знал ничего. Никто. Но он ведь был, я же не Клим Самгин. Гарик. Был!..

В комнате так сыро, в углу со стены отклеился кусочек обоев и свисал, под ногами у меня под линолеумом кое- где вспучились половицы. Надо было открыть окно. Но узенький этот тротуар совсем близко, там лежали слоями мокрые листья. Ночью, когда уснул все ж таки, шел, наверное, сильный дождь. Листья эти от двух тополей, которых тоже больше не было, их вырванные с корнем в ту ночь стволы, голые, так вот и лежат, и за окном одна пустота, там, где прежде были трехэтажные дома.

Потом за моим прямо-таки подвальным маленьким окном начали проходить мимо нижние половинки людей, а те, кто меньше ростом, до плеч и без головы. Люди шли по мягким от дождя листьям бесшумно, и ноги у всех были в голубых бахилах. Тех самых тонких, из целлофана, что натягиваешь на ботинки, когдаходишь в поликлинику или больницу. Но такого ничего близко не было, а они все шли и все в голубых бахилах. Куда шли эти люди? Больные они?..

У студентов моих экзамены кончились, каникулы наступили, и в университете я не появлялся. И я больше не в состоянии был смотреть в окно, а эти еще, нагибаясь, все заглядывали иногда в комнату.

Я снял со стены висячий календарь, который за границей, наверно, купил отец Гарика: очень большой, продолговатый, где на каждом листе обозначался месяц, а когда проходил месяц, лист переворачивался вверх, вдевался в дырочку на гвоздь. На продолговатых листах были квадратные репродукции картин.

Я достал молоток, прибил наверху к оконной раме тоже тонкий гвоздь и завесил окно календарем. Теперь вместо половинок да безголовых людей и пустоты проклятой передо мной был всегда удивительный вид на город Делфт XVII века.

Но когда я проходил по длинному нашему коридору на улицу, из закрытых квартир с обеих сторон приоткрывались двери и высывались какие-то странные лица. Я здоровался в обе стороны, только они не отвечали и двери сразу захлопывали.

И все же я встречал их иногда в коридоре и сумел наконец лучше разглядеть. Одного, к примеру, я обозначил как «человек-затылок».

Он был высоченного роста, плоский, стриженный коротко, узенький лоб, длинная шея. И я, когда видел неподвижное его и точно вовсе безглазое лицо, как-то тут же представлял, что это не лицо, а длинный, коротко остриженный затылок.

Девушка симпатичная с челкой, нагнув голову, проскальзывала молча мимо меня. Но когда я встретил ее не в первый раз – жила она тут или просто приходила часто? – то разглядел, что лицо у нее тоже не совсем обычное, а такое оно словно угловатое: скулы, надбровья, подбородок. Но так ли это или нет?.. Да что со мной?! Они такие вот или я их теперь так вижу? Нехорошо. Честное слово, нехорошо.

Единственный, кто в коридоре здоровался, улыбаясь печально почему-то с пониманием, был низенький, худенький, словно подросток, но с бородкой пожилой человек.

И именно он как-то под вечер деликатно постучал в мою дверь.

7.

Был он, оказывается, последний старожил в этом доме.

– А эти пришлые, – он тут же перешел на шепот, – вы даже не представляете, что с ними делали! Что они пережили, и потому они всего боятся. И притом у каждого, – шептал он уже мне чуть не в ухо, – своя фантазия о том, что произошло. Они мне рассказывали по секрету. Из 5-ой квартиры, например, очень начитанный он человек, предположил, что, как видно, в действительности существует некто вроде Гулливера, огромный, а мы, как лилипуты, и это он всем завладел, всем городом, окружил колючей оградой, и это он просунул свой кулак под нами, как поезд, а не землетрясение.

– А? – Александр Паисьевич, отодвинувшись наконец от моего уха, смотрел на меня, прищурясь иронически-вопросительно. – Как вы думаете?

– Да сумасшедший, конечно, – определил я.

Александр Паисьевич неопределенно пожевал губами.

Он сидел на стуле передо мной худенький, всезнающий, с остренькой бородкой, в аккуратном пиджачке и старомодном галстуке. Нижняя губа у него над бородкой, по-молодому розовая, была оттопырена. «От многоречивости», – подумал я.

– А все другие, – продолжал Александр Паисьевич, – полагают, как вы понимаете, просто банально: это, мол, друзья наши заклятые заокеанские или из космоса, что вообще уже все глупо.

– Ну ладно, – сказал я, – они сумасшедшие, пострадавшие, и мне, честно говоря, их очень жалко. А вот что вы думаете обо всем, что происходит сейчас? Ваше мнение?

– М-мм, – уклончиво протянул Александр Паисьевич и тронул, потеревил свою бородку. – Видите ли, я знаю, что плохо, очень плохо, а абсолютно однозначно говорить о конкретностях... – Он замолчал, пожевал уклончиво губами и посмотрел на окно.

«Боится». Я с досадой тоже оглянулся на окно.

Но там по-прежнему сиял великолепно город Делфт XVII века. Когда я обратился снова к Александру Паисьевичу, его в комнате уже не было.

8.

Пожалуй, первый признак, что осень все ж таки наступает, что она не за горами, была шумящая вода в радиаторе отопления. То есть, как обычно, отопление проверяли заранее. Я ведь и платил вместо Гарика по его квитанциям за квартиру и за все прочее. И эта вот обычная проверка отопления, вопреки всей непонятной тревоге в городе, и было сейчас странным. Но в комнате у меня тепло стало, и успокаивало.

Однако ненадолго. От тепла начало где-то что-то поскрипывать, трескалось, особенно слышно было, конечно, ночью, если не спишь. Но это трескались, понятно, обои потихоньку, половицы поскрипывали у входа, где не был поклеен почему-то линолеум. А все равно, сколько ни уговаривал себя, но было такое ощущение, что кто-то ходит там.

Я положил на голову подушку и наконец уснул. И вот тут-то произошло страшное. Я увидел очень ясно, словно вовсе это был не сон, как под дверь в щелочку медленно просовывается листочек бумажки. Он был у меня уже в руках, и на нем бледными буквами было написано карандашом: «Я, дядя, ушел искать папу».

В эту ночь я оделся и вышел в город.

Было совсем еще не поздно, но пусто так. Не светились повсюду окна, а от редких фонарей казалось еще пустынной, и за фонарями, ближе к темным домам, была особенная тьма.

Я шел посреди мостовой, и звуки моих шагов слышны были наверняка на длинный, длинный квартал. Паисьевич мне говорил, что на улицах и днем сейчас опасно. Но мне было все равно.

Родного своего отца Викентия я, презирая, не искал никогда: он маму мою бросил, когда мне еще не исполнилось и полутора лет, а отчим у меня был такой по-доброму привязчивый человек.

Я все шел, «дядя», по пустому городу. На что надеялся?..

И все равно каждый раз поздним вечером, когда не спал, я выходил в город. Один раз мне даже показалось, что маленькая фигурка вышла из-за угла, но, меня заметив, тут же спряталась.

– Постой! – крикнул я. – Постой! – И побежал туда.

Куда?.. Я огляделся. Мне просто показалось.

9.

А утром в среду я проснулся довольно поздно от какой-то возни и шорохов в коридоре. Натянув торопливо штаны и футболку, я выглянул.

Там стояла соседка, старушка из дальней 7-ой квартиры, что куда ближе от меня к выходу, востренькая такая, очки на цепочке и ростом мне по грудь. У ног ее на полу чемодан, пакеты в целлофане. Она пыталась явно, скреблась открыть тамбур – дверь его под прямым углом к стенке моей комнаты.

– Доброе утро, – сказал я, – В чем дело?

– Тут нет дверной ручки, – объяснила мне старушка, – а я хочу выйти через него на второй этаж и оттуда уже во двор.

Надо сказать, что тамбур этот когда-то был просто прихожей заколоченной парадной двери и, естественно, там парадная лестница наверх. Но для родителей Гарика он явно служил тем же, что для верхних жильцов чердак, переполнен был вообще непонятно чем.

– Хорошо, – сказал я. – Сейчас открою. – И пошел, ничего не понимая, взять столовый нож, просунул лезвие его в щель и открыл дверь. – Ну хорошо, – повторил я, – а почему отсюда?

– Вы что, не знаете ничего, да? Паисьевич утром пошел в киоск, верно, за газетой, а его нашли убитым!

– Его?! Кто? За что?

– Говорлив слишком, значит, – пояснила соседка, озираясь. – Вы что, не видали разве – ходят кучкой неизвестно какие, но не милиция, даже не бандиты, они переодетые. А в доме сейчас уже все выбрались, убежали сразу, пока следователи не явились, чтоб не припутали их. – Подхватив чемодан и свои пакеты, она пролезла мимо торчащих ножек ломаных стульев, начала быстро подниматься по лестнице вверх.

Квартира Александра Паисьевича была тоже ближе к обычному выходу во двор, но мне-то зачем, мысля все ж таки здраво, убежать отсюда, как заяц, через второй этаж.

Когда я умылся и оделся, я просто пошел по коридору завтракать, как всегда, в университетскую студенческую столовую.

– Молодой человек. – Двери Паисьевича приоткрылись, и меня пальцем поманили в его квартиру.

10.

– Нет, нет, не сюда. – И незнакомый этот (вероятно, следователь) завернул меня сразу направо в кухню.

Кухня Александра Паисьевича, одинокого старичка, блистала, к моему удивлению, непривычной чистотой. Разве что конкретно, что тут стояло не могу сказать, так как внимание мое тогда, понятно, было на двух людях в кухне.

Тот, кто поманил меня, – высокий, грузный, лет сорока, в летней военной рубашке без погон и отличий, с тяжелым полковничьим лицом (но наверняка куда пониже чином) и совсем неподходящим под его комплекцию тонким голосом (именно поэтому я решил, что он никакой не полковник). А вот улыбка его...

Он улыбался мне, подвигая к кухонному столу табурет.

– Садитесь, садитесь. – Но когда улыбался, глаза не щурились, а губы раздвигались не вширь, а как бы складывались бантиком, иначе как-то и не скажешь. Мне, например, никогда не приходилось видеть, как улыбаются большие крысы, но, по-моему, именно так. Крысиная улыбка.

Кроме него сидела у стола та самая скуластая девушка с челкой, которую я несколько раз встречал в коридоре.

– Вам знаком? – Повернулся к ней следователь. Сам он стоял, опираясь руками о спинку единственного в кухне стула.

– Только по коридору, – сухо заметила девушка.

– А как вы думаете, – продолжал он, – может быть, они бывали где-нибудь вместе. Не встречались вам?

Девушка пристально смотрела на меня.

– Нет, по-моему. Нет.

«Фу ты, – подумал я, – это ведь уже допрос».

– Что вы от меня хотите? – Я встал. – Я уйду сейчас, если официально не объясните и не покажете документы, что право имеете меня допрашивать.

– Да что вы, что вы, никакой это не допрос, да просто посидите, послушайте, просто посидите с нами, – крысино заулыбался он. И опустил грузно на стул.

– Итак, Милица Борисовна, – он обратился к девушке, – мне все же непонятно, как вы, культурный человек, сотрудник музея, ходите сюда, в эту квартиру мыть пол, убираться, обед готовить. Или вам зарплаты совсем не хватает?

«Ого, – подумал я, – это, оказывается, ее допрашивают».

– Вам нужно повторять в третий раз, – с досадой сказала девушка и даже раздраженно пристукнула кулаком. – Повторить снова? Я родственница его покойной жены, и платы я, разумеется, никакой не беру. Больной, одинокий старик. Это что, вообще не понятно?

– Нет, представьте не очень. – Откинулся он на стуле. – Ну, ладно. – Выпрямился и взял со стола бумаги. – Вот вам заполненный бланк, распишитесь внизу о вашей подписке о невыезде. А вы, Павел Викентьевич, пока свободны. («Он что, вероятно, обо мне все знает?») Свободны пока. Пока. До свидания.

11.

На первый семинар мой после каникул явились все. Даже непривычно было, что много так в семинаре народу.

Но они сидели тихие, совсем не как всегда, слушали, записывали. Потому я решил, что пора, пожалуй, дать им задания для докладов, предложить темы. И еще я хотел поговорить с деканом, я ведь аспирант, а профессор уехал, – кто будет теперь моим руководителем?

Но ей было явно не до меня: – Потом, потом. – Что-то ее беспокоило, вовсе не мои аспирантские дела. И кафедру после каникул она не собирала ни в первые дни, ни через неделю.

А у меня дома в комнате вдруг ожил всегда молчавший телефон – мне-то некому было в городе звонить. А тут все почему-то звонили, не туда попадая, извинялись или не извинялись. И, в конце концов, выдал мне телефон вот что:

– Добрый день, – сказал приятный мужской голос, – Вы давно не были в нашей 4-ой зубоорачебной поликлинике, А мы могли бы вам сейчас помочь.

Это вот было уже чересчур.

– Большое, большое вам спасибо, – сказал я, стараясь быть так же точно очень приятным, – Но у меня все зубы вставные, – И даже лязгнул для подтверждения здоровыми своими зубами.

Черт знает что, Я вышел во двор, Солнце сияло, словно все это еще лето, И на бревне среди пожухлой травы, жмурясь от солнца, сидела, как ее? Ну и имечко, Милица Борисовна и курила, отводя то и дело рукой челку со лба, Джинсы на ней были сильно потерты и желтая на ней футболка.

– Здравствуйте, – сказал я вежливее, как можно, – Что ж это вы не в музее?

– Уволили, знаете, – Она выдохнула вверх струю дыма, – Сижу теперь на воле, Тепло, не правда ли?

– Н-да, – сказал я, – Тепло, – Думая, как бы это поприличней распрощаться.

– Да вы не сочувствуйте, не надо, Музей все равно закрыли, Всех и уволили.

– Это как?

– Да так, – И протянула мне: – Курите? – пачку сигарет.

– Нет, спасибо, Бросил.

– Новая жизнь началась, – продолжала она, скривившись, – Вы, по-моему, не на Луне живете, Все будет по-другому. Только неизвестно никому, кто все-таки над нами, ничего ж не объявляют, не объясняют, Кто все это делает? Я вот хотела в библиотеку, что ли, устроиться, да и там что-то неладно.

– Ну это не везде вовсе, у нас в университете...

– В университете? – повторила она насмешливо, – Что ж, желаю вам самого доброго.

И ушел я от нее, просто как оплеванный, Черт меня дернул заговаривать! Как непохожа она стала на симпатичную ту девушку, что пробежала мимо меня по коридору, не здороваясь.

12.

Студенческая наша столовая располагалась на пятом этаже, И чтобы не взбегать бесконечно по ступенькам, да еще опаздывали всегда, – норовили в лифт, Хотя и не поощрялось: он был грузовой, просторный лифт, набиралось туда студенческого народа, как говорится, под завязку, А обычный лифт не работал давно.

Я втиснулся, стояли тут почти впритирку, Ребята толкали девчонок, острили, девчонки били их кулачками по спинам, смеялись, В голове у меня все одно и то же: о докладах – как, кому, что предложить конкретно, не всякий ведь из них потянет.

Мы едем бесшумно, но остановились не на пятом этаже, свет помигал, погас, Но у нас такое не раз бывало, также двери не открывались или еще что-нибудь, если перегружен.

– Ребята, кнопку нажмите!

Зажглась спичка.

– Вызвали, не бойсь, потерпи немного.

Прошло полчаса, пожалуй, а может, и больше. Мы стоим.

– Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный НА ВОЛЕ орел молодой,

– начал кто-то дурашливо.

– Брось, слышь! Брось. – Мобильник... – Пробовали уже, под этой крышей не берет, черт.

– Девчонки, а давайте споем, не плакать же, а? Споем!.. Но не поддержали.

У кого-то транзистор заговорил, шум, треск, попса, дальше – жесткий, очень жесткий голос, обрывки слов, но что-то не совсем понятное.

– Да выруби, выруби ты его к черту! О чем болтает?.. Не о нас же он.

И тихо стало. Только я чувствовал рядом в темноте дыхание людей.

13.

«Уважаемая Ирина Анатольевна, получив Ваше корректирующее извещение от 3/х о потреблении электроэнергии и оплате за нее и сравнивая затем Ваши данные с квитанциями по оплате от квартирного электросчетчика, нами установлено, что...» У-у-у-у.

Фуу-ух. Я отодвигаюсь от стола.

Я – в большой, абсолютно голой комнате, стены ее покрашены бледно-серо-белой масляной краской, и сижу я за длинным столом на самом краю. Дальше тоже сидят, и у каждого свое порученное ему дело.

Таких столов в комнате четыре, и это похоже, скорее всего, ну не знаю, на столы в казарме или, быть может... Нет, это вовсе не тюрьма, а просто служебное помещение, куда направлен каждый по степени полезности.

Боже мой... Когда закрываю я глаза, вижу свой кабинет истории, он не в главном здании университета, а в городской усадьбе XIX века, шкафы с книгами по стенам до потолка, мраморный камин. Боже мой... Неужели не будет больше никогда. Никогда...

Народу в городе от землетрясения, нераскрытых пропаж, массовых убийств, побегов, прочее, прочее, считается (кем считается?!) стало на четверть меньше. Поэтому все квалифи-

цированные в практическом смысле людские силы собраны, работают в промышленности, в строительстве, на цементном заводе и т. п., и т. п.

Наша же категория за столами заполняет рубрику: «Бесполезные». Однако это не означает, оказывается, что каждый не может приносить хоть какую-нибудь, но практическую пользу. Мне, например, поручено, после закрытия гуманитарных факультетов, разобраться с путаницей в оплатах электроэнергии. Дело, разумеется, важное, и, полагают, грамотный человек распутает быстро все и тщательно.

Итак: «...установлено, что Вы просто берете средние показатели за прошлые годы и на этом основании...» Тыфу.

Я зажмуриваю снова глаза, чтобы ни за что не видеть серую эту голую комнату, а что-нибудь ну самое-самое, что ни на есть самое яркое. И вот – вот июнь. И это Крым, верхушки зеленые холмов, и на них, я помню, ярко-красные полосы, и сползли они вниз с зеленых холмов, как кровавые ручьи, эти полосы – горлицы, они затопляли все овраги внизу красными своими цветами.

Нет, я не хочу открывать глаза, я не хочу, что «установлено, что...» И позволяю себе такое не раз и не два, потому что иначе...

Но вот что интересно. Бывает вдруг глаза откроешь, а все равно: небо, и вроде ранняя осень и даже бело-зеленые, в лишайнике, очень мокрые от дождя стволы деревьев, наших бывших деревьев... Но это та же казенная комната. А потом ты понимаешь – ты видишь непонятные какие-то тени на стене от окна.

14.

Домой я возвращался поздно, обедали мы там же на службе, а вечерами готовил себе чего-нибудь попроще.

В доме у нас ни звука, ни шороха. Тишина. Брошенные квартиры не занимает никто. Боятся, верно, этого дома из-за убийства и то, что дом под надзором. И Милицу Борисовну я тоже больше не встречал, хотя, наверное, она жила теперь в квартире Паисьевиича с подпиской о невыезде.

Домой к себе я проходил мимо школы, там во дворе почему-то появилась пушка с очень длинным дулом. А на площади у неработающего фонтана я разглядел в воде старинный военный кивер с маленьким блестящим козырьчком, черный с красными полосами с обеих сторон. Но это был, как видно, театральный реквизит. От заросшего седой бородой соседа своего по столу, по профессии актера, а теперь занимался он коммунальными платежами, я слышал, что его, например, театр закрыли, а что с другими неизвестно.

И все же нет, очень я не хотел переверачивать лист календаря на окне с замечательным городом Делфтом XVII века, и не переверачивал, хотя месяц был уже другой.

Нет, нет и нет. Моя жизнь... Я буду ехать, как ехал всегда в поездах, я буду свободен! И не диссертация вовсе, а я напишу об этом. Свою жизнь. Как все же повернулось что-то во мне.

А в вагоне окно приоткрыто. И мчится поезд. Вечер. Так пахнет травами, дымом костров, деревней, и река близко. Лиственницы появились вон, мелькают, мелькают вдоль полотна. А вдали пожар.

15.

Теперь я пишу все время и как-то не могу остановиться. Это не украдкой, отрываюсь просто от электроэнергетических расчетов и пишу. Ведь по вечерам сил нет, устаю. А утром голова свежая и вовсе не для канцелярии, и я даже чувствую иной раз в потоке слов какой-то явный внутренний ритм. Именно ритм.

А в электроэнергетических записях у меня уже наверняка ошибки, поэтому надо иначе. Я снимаю часы с руки и кладу на стол. С утра, пока такой вот запал, я пишу не отрываясь. А потом что-то спотыкается, затухает, тогда и перехожу на канцелярию. Конечно, в голове начинают постепенно снова сами собой крутиться дорога, река, лес, разные такие люди, события, сколько ж я видел... На оторванных клочках из тетрадки записываю бегло несколько слов для памяти, для утра. И снова углубляюсь в канцелярскую круговерть.

Мой седобородый сосед по столу – я ж сижу с самого края – смотрит иной раз украдкой – чем занимаюсь?.. Но мне-то, чего мне бояться. Донесет? Но пока спокойно. И я продолжаю. И вокруг заняты все, у каждого свое задание. Проверяющий не ходит вдоль столов, это вам не школа, другой у них явно метод наблюдения, они видят все на экранах, конечно, которых мы не видим. Но что тут хорошо – главное – выполнения норм, пока во всяком случае, не требуют.

За этими столами почти всех я уже знаю в лицо.

К примеру, физика-теоретика, он тут единственный такой ярко-рыжий (моя слабая рыжеватость не в счет), волосы у него растрепаны, очки сползают, а глаза у него наверняка зеленые, потому что, как считается теперь, у всех рыжих глаза зеленые. В чем вовсе я не убежден. И также не убежден, что леворукие, о чем иронизирует мой седобородый сосед, – это, мол, у них все от дьявола. У нас ведь есть левши.

А еще я прекрасно знаю, что за вторым от меня столом сидит и трудится как все (кто бы вы подумали?) тот самый следователь, что допрашивал нас в квартире Паисьевича. Он явно делает вид, что не знает меня, не замечает. А он похудел и как-то сник. Тоже, значит, попал за что-то – или им не нужен теперь больше – в нашу категорию «Бесполезных».

Иногда для отдыха – это разрешается – выхожу в коридор, пройтись туда-обратно, размять ноги. Сегодня ко мне присоединился и мой сосед, седой, седобородый. Он идет со мной, словно в паре, не отставая (ишь живчик!..), я ускоряю шаги, я один хочу, а он не отстает.

– Послушай. – Задерживая, стискивает он мое плечо. – Я же вижу, я понимаю, что ты пишешь, ну прямо сочинение целое, а? Да не бойсь. Не боишьсь? Молодец! А я могу тебе помочь, потому что скоро меня тут не будет, и меня они не найдут.

Мы стоим в самом дальнем коридорном закутке. Он оглядывается быстро и начинает отцеплять приклеенные бороду и усы, а потом стаскивает седой парик.

Мне в лицо, подмигивая, улыбается молодой человек моего возраста.

16.

Кто он такой на самом деле и что значит «скоро здесь не будет» и «меня они не найдут» и в чем может мне помочь, я так и не узнал тогда. В коридоре появились – на прогулку люди, и мгновенно он снова оказался седобородым, седовласым стариком. А потом кто-то и что-то все время мешало, не удавалось пока поговорить наедине спокойно.

А между тем в доме у нас начали возникать некоторые новшества.

Вчера вечером, идя к себе в квартиру, я наткнулся вдруг на кого-то, он сидел прямо на полу у двери Паисьевича, вытянув ноги. Свет в коридоре был слабый, горела одна только лампочка там, посередине.

Но сама дверь Паисьевича за его спиной начала дергаться, его спина мешала явно открывать дверь. А когда с силой еще раз дернулась, этот кто-то повалился набок.

Из квартиры яркий свет, у порога в тренерках и футболке Милица Борисовна на корточках домывала пол. Волосы ее растрепались, лицо было красное от натуги.

– Хм, – сказала Милица и привстала, держа в руках тряпку. – Это что ж такое?

Человек по-прежнему лежал неподвижно на боку, поджав ноги.

– Стойте. – И отбросив тряпку, она пошла быстро назад, вернулась с банкой воды и изо всех сил брызнула в него водой изо рта.

Человек пошевелился и стал поднимать голову.

– Ну, – сказала Милица, – что будем делать?

– Надо бы перенести куда-то, – сказал я.

– Хорошо. Давайте, 5-ая квартира не заперта.

Я начал приподнимать его за плечи, Милица за ноги. Он оказался очень длинным.

– Нет, так не пойдет, – сказал я. – Лучше я сам. – И поднял его на руки, ноги его болтались, он был совсем легкий, невероятно худой и легкий, и плохо от него пахло. А лицо его теперь совсем близко: это был «человек-затылок».

Положив его, наконец, в комнате незапертой квартиры на кровать, я посмотрел на Милицу, что стояла рядом.

– Что ж, придется подкармливать его, – сказала она.

– Придется, – я согласился. – Только...

– Что вы хотите сказать, что из ваших шишей, какие вам там плятят, – усмехнулась Милица, – не разгуляешься, да? Так я его беру на себя.

– Да вы ж не работаете.

– Как не работаю. Работаю. Только моя работа особая. Еще и вас могу подкормить. – И она с вызовом посмотрела на меня.

17.

– Они его подхватили на улице сзади какие-то двое в штатском, – рассказывал я в коридоре актеру Вите (ни свой парик, ни бороду, на всякий случай, он больше не снимал), – и потащили этого бедолагу, привезли на цементный завод, поставили золу сушить на костре. А там все такие, как он, а над ними охранники с резиновыми шлангами, отвлечешься, и сразу бьют. Остальные, хоть больные, хоть какие все равно с ведрами, носилками пудовыми, и все бегом, все бегом, остановишься – и бьют.

– Чудесно. А актеров наших с ведрами не встречал он там, а?

– Не знаю. Наверно, и ваши были.

– Ясно, ясно, – сказал Витя. – Ты вот пишешь, так ты пиши все, все это пиши.

– Знаешь, – сказал я, – он говорил еще, убежать можно, сам уполз, но ловят, а главное ведь все боятся, Витя, все боятся. А чего боятся, непонятно. Кто, говорил он, кто над ними, над этими, над всеми, кто?

Ночью я по-прежнему засыпал плохо. Это поначалу казалось, что наш дом полностью уцелел, единственный из домов переулка. Но когда поднимался ветер, в доме ночью раздавался стон. Собака выла?.. Нет, никаких собак, ни кошек поблизости больше не было. Они исчезли все, когда рушились дома. И потому понять что это, не мог. Скорей всего в стенах обозначились трещины, и это стонал, проникая, ветер.

А решительная Милица все пыталась выхаживать «человека-затылок» – он, от всего, что с ним происходило, вообще пугался неожиданных звуков.

Я же со своей стороны уступил Милице и согласился заходить поужинать с ними. Так мы хоть вместе здесь, очень уж тошно одному в пустом доме.

В воскресенье Милица собралась куда-то и предложила мне пойти с ней – будет, мол, и вам, я думаю, интересно.

Мы шли долго на западную окраину. Было очень холодно, совсем не по-осеннему холодно, и на неизвестной мне улице Юрьевской из открытых дверей маленькой церкви шел пар. Наверно, внутри там набилось очень много народу, надышено было и тепло.

На улице то и дело здесь попадались люди с колясками ручными на визжащих колесиках, они везли бидоны и канистры. Как сказала Милица, воду везут, тут сохранились еще колонки, а водопровод с перебоями.

Потом мы прошли через пустой парк. Внутри заросли крапивы между деревьями, и перед летней проломанной театральной сценой торчали столбики в ряд, на которых раньше крепились доски скамеек. А в самом центре парка был облупленный постамент, на нем черный бюст Карла Маркса.

Мы уже вышли насквозь, когда из ближнего дома выскочил низенький волосатый человек в одних трусах и заплясал, заплясал перед нами, хохоча:

– Тетя милиция! Тетя милиция! Ты тетя милиция!

– Хватит, слышишь! Раз, – И как пистолетом, Милица наставила на него палец. – Два! Косинус Фи!

Человек пригнулся и сложил, умоляя, ладони, потом кинулся прочь.

Мы спускались медленно вниз по ступенькам подвала, а из темноты трепыхнула вдруг цепью собака и началось ворчанье, хриплое ворчанье, сейчас, сейчас она залает.

– Тихо! Тихо, Лорд, – сказала Милица. – Это я и мы вместе, оба.

Ворчание смолкло, но в потемках я даже не разглядел собаку.

Милица на ощупь привычно отомкнула железную дверь, внутри горел тусклый свет.

Рядами в громадном подвале вдоль стен высились античные статуи.

– Вот, – сказала Милица с гордостью, но и печально. – Он все также живой, наш музей. Ликвидированный.

18.

Аресты в городе продолжались. Разыскивали, как сказано было в развешанных повсюду объявлениях, тех, кто злостно пытается прятать, несмотря на запрет, все прежние «так называемые ценности культуры».

Ранее арестованные исчезали бесследно, а на площади у бездействующего фонтана – я ведь сам это видел! – три дня лежала, вероятно для острастки, отрезанная голова известного всем коллекционера.

На дверях нашего дома Милица поспешно приклеила белый лист с надписью большими черными буквами «Карантин».

С помощью умельца, одного из новых жильцов (теперь уже почти во всех квартирах селились беглые), во входную дверь со двора был врезан замысловатый замок, а дверь открывалась тем, кто знал о невидимой кнопке. Нажмешь, скажешь кто, и отвечают изнутри Милица либо я, и мы с ней решаем.

В общем-то, обыкновенный домофон, но сама кнопка в дверях невидимая, и беглые передавали, как ее обнаружить только самым верным.

Поздними вечерами в одной из надежных квартир на улице Гагарина я читал свои лекции о нашей отечественной истории XVII века, подлинную историю, постепенно переходя к более близким временам, поскольку издан был и широко распространялся новый учебник, где история словно начиналась заново.

Уставал я, конечно, очень, потому что помимо канцелярской службы продолжал свои записки. И все так же, понятно, плохо засыпал.

Однажды вечером я услышал вдруг за стенкой в пустой комнате Гарика равномерный звон: били часы. Но этого совершенно быть не могло! Старинные часы на стенке, которые у его мамы оставались еще от прадеда, были сломаны и никто, как говорил Гарик когда-то, не брался починять.

Однако зайти туда, в комнату моего Гарика, я до сих пор не мог решиться.

Я выскочил в коридор. Милица, Мила, как все ее уже называли, наш теперешний комендант, стояла у Гариковой двери и тоже прислушивалась. И вправду, били часы.

– Ты знаешь, – сказала она, – я же все понимаю, я тебя хорошо понимаю, ты не заходил туда ни разу, я понимаю, для тебя выше сил. Но а можно я зайду? Ты скажи мне, ты скажи. Ну ты мне скажи...

Она так близко ко мне подошла.

– Да, – сказал наконец я. – И я не буду больше называть тебя Мила, ладно, слышишь?.. Ты ведь для меня Миля. Можно?..

– Можно. Для тебя все. Для тебя все, все можно.

19.

– Этим летом, Миля ты моя, так мне было одиноко. А на дворе тепло, солнце, и, помню, иду я по асфальту вдоль кустов, лопухов нашего без решетки двора, а под ногами всюду на расстоянии друг от друга темные пятна и еще светло-коричневые маленькие камешки. Но сел на корточки и понял, что это не камешки, а просто-напросто круглые раковины улиток. Тепло стало, и все они, все на дороге уже под солнцем. Их длинные такие, коричневые узенькие туловища выглядывали далеко наружу и у них усики шевелятся. А темные пятна – это все следы раздавленных, незамеченных ракушек.

– Ракушки?.. Ты об одиночестве, да? Ты метафорист, родной ты мой Павлуша. Я же видела, какими глазами ты смотришь на меня, особенно в последнее время. И молчал. Ты совсем не современный человек, ты во всем такой, Павлуша. Но за это, наверно, я и люблю тебя.

– А что ты, ну ты такая уж современная, да?

– Во всяком случае, может на чуточку больше. Знаешь, женщины, они почти всегда практичней.

Это один вот из наших первых разговоров, когда мы по-настоящему были уже вместе. «Скрещенье рук...» – Да лучше-то и не скажешь, чем у запрещенного ныне поэта: – «Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье...»

Мы впервые рассказывали все друг другу, о себе, детстве, юности. И как это раньше мы были не вместе!.. Ведь и лицо у Мили – вовсе это неправда! – совсем, совсем не угловатое, волевое, да, но какие глаза у нее и какая родная ее улыбка... А молодость кончилась у нее, когда погибли и отец и мама в автобусной аварии. Но только – это говорила Миля – человек никогда не должен, нет, жалеть самого себя, именно себя, все-таки это главное. Чтобы жить дальше.

А я... Я больше не отпускал ее одну в вечерние, и каждый раз особенно рискованные выходы в город. Она знала хорошо, кто и где хранит остатки музейных фондов, знала оставшихся еще затаившихся коллекционеров, считалась у них экспертом и читала к тому же лекции об искусстве. Это было все безвозмездно, только у самых богатых тайных коллекционеров соглашалась на гонорары. Они шли в общий котел, потому что выходившие тайком для пропитания беглые наши приносили, в общем-то, крохи. Короче, в доме мы нельзя сказать, что мы голодали, но жили довольно скудно, понятно.

А вот часы у Гарика продолжали идти. Но это, по-моему, не столь уж диковинно. Каждый хотя бы раз мог видеть или, может, слышать как что-то молчавшее вдруг оживало, и вот так воспрями часы.

Хотя, конечно, свои тайны есть и у неживых вещей.

На одной из лекций Миля, например, объясняла, в чем загадка удивительной яркости самых, казалось бы, обыденных сцен, какие целых четыре века назад, и до сих пор это прекрасно, писал автор моего Делфта. Делфта, которым я занавешивал у себя окно.

Раньше я слышал кое-что и даже читал об этом. Но Миля еще упирала на не совсем обычные свойства зеркал, какие по-особому устанавливал для освещения своей природы художник.

Быть может, это и так. Но главное все равно не в тайне, это понятно, его зеркал. Даже при высшем даровании главное оказывалось опять-таки в силе его чувства.

20.

Между тем работа моя над записками, в общем-то, близилась к концу. У меня скопилось столько о недавних ситуациях, о запретах и совсем уж о бесчеловечных фактах, о чем рассказывали беглые, прямо на разрыв души.

Витя торопил меня: – Я, ты понял, я смогу такое передать в загранку, понял? А ты тянешь. Пусть все узнают, не тяни!..

И Миля начала на компьютере набирать уже готовые правленные черновики. Время летело так, что я и не заметил, вернее не запомнил, когда Витя, получив, наконец, рукопись, исчез.

Но зато я запомнил, как нас всех большую теперь группу «Беспольных», художников, филологов, флейтистов даже и прочих, выстроили в зале и по одному стали вызывать на допрос. Но никто, действительно, и я в том числе, ничего не знал, каким образом и куда ему удалось уйти, скрыться.

И так же точно не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как однажды в доме появился новый человек, беглый, он передал Миле книгу.

Когда я вошел в квартиру, она кинулась ко мне, целуя, обнимая меня: – Получилось! Вышла, вышла твоя книга, Павлуша, родной мой! – Какие любимые, какие сияющие, любимые глаза и какое лицо счастливое... И у меня, наверно, хотя и оглушенное, растерянное, конечно. Мы все так же стояли в дверях, обнявшись.

Потом сидели рядом и листали страницы, перебивая друг друга, нет, не изменили ничего, ни пропусков, те же абзацы, даже тире, запятые, все точно.

Книга была объемистая без всякого названия и автора, мягкая обложка, мелкий шрифт и карманного размера, чтобы легче пересылать, передавать или прятать.

– Он, кто передал, Павлуша, говорил мне, что у них там вышла большими тиражами и большим форматом. Но, чтобы тебе не повредить, псевдоним, естественно.

Я отлепил приставший изнутри обложки титульный лист, поглядел с интересом, какой они мне придумали псевдоним.

Только псевдонима там никакого не было. Стояла подлинная фамилия Вити. Теперь каждый, знали все: книга была написана Витей.

21.

– Дом, смотрите! Дом осаждают!

– Это какой? Улица какая? – И я взял быстро у нового соседа по столу, что вместо Вити, строжайше запрещенный нам видеотелефон. Экранчик был очень маленький, и все там было крохотное: мелькнувшее лицо, дым, трассирующие пули, люди в бронежилетах, бегущие влево, вправо.

Только бы не наш... Нет, дом другой, нет, не двухэтажный, выше! А только чувствовал я уже, я понимал...

– Немедленно отдайте! – Надо мной, откуда непонятно, появился неизвестный человек и протянул к телефону руку.

Но я так быстро выбрался из стола, что он не успел вырвать телефон. Тогда второй, такой же человек, вот она охрана, кинулся ко мне.

И тут стол внезапно сдвинулся и покачнулся – мои соседи вскочили тоже, во все стороны полетели бумаги, бумажки, счета.

Затиснутые беспорядочной нашей толпой, у этих двоих в руках были уже пистолеты, и сразу ударил выстрел. Но пуля ушла вбок, вверх, и их обоих повалили на пол, выкручивая, выбивая пистолеты.

Маленький телефон дрожал у меня в руках, я больше не различал ничего.

– У меня камера, видеокамера! – Это мне рыжий. Господи, как он смог даже камеру пронести. – Смотри! Увидишь! Тебе ответят.

– Павлуша! Павлуша! Павлу... – услышал я, наконец, и увидел Милю. Миля!

И ясно увидел свой дом. Стекла были всюду выбиты, но календарь еще висел.

– Пав-лу-ша...

– Миля! – крикнул я и что было сил побежал вперед. Дверь!.. Найти дверь! Выход отсюда. Выход, скорей!

За мной вслед побежали все, а над нами яростно завывла сирена. Тревога. Сейчас перехватят...

Толкаясь на бегу ладонями в стенки, я искал, щупал, задыхаясь, неразличимые, замаскированные двери. Миля... Они бесконечны, какие бесконечные коридоры справа, влево.

Со мной рядом был рыжий с камерой, на экране дым, залпы, а за нашей крышей явно полыхали пожары.

– Дом пустой! Слышишь! – крикнул рыжий. – Я вижу теперь, там пусто, они ушли!

И тут я нащупал в стенке бугор, потянул его резко в сторону, и стали медленно раздвигаться двери.

Но с обеих сторон, с силой оттолкнув рыжего, меня схватили под руки, сдавили – охрана, – отгаскивая назад.

Только я уже увидел.

Это была совсем не наша улица, не было окна с картиной и города старинного с картины. Не та дверь!..

Это же просто наш Юго-Восточный поселок. Совсем не та дверь...

И спокойно там еще, не дошло до них?!..

Впереди, в зелени стояли белые дома, не слишком высокие. И не разрушено ничего.

Но только это не наш город. Явно другой... Подальше там, за нашей, вроде, оградой.

Слева к белым домам подходили заросли густых деревьев. Из зарослей вышел маленький олень, подросток. Он пошел по асфальтовому тротуару вдоль домов. И сразу из зарослей вслед выскочила его мамаша и пошла за ним. А потом вышел и отец с ветвистыми рогами.

Я почувствовал, что меня перестали держать, сдавливать. Все смотрели молча, как друг за другом вдоль домов идут по тротуару.

– Миля, да где же ты? – прошептал я. – Там олени.

2009

Время жалеть

Повязка. Почему так ясно: она черная. Хотя не видел вообще как надели, как незаметно. И прилегает очень плотно к лицу, плотно, глаза открыть нельзя. Только не жесткая, совсем не жесткая, толстая, мягкая, жаркая, даже потно. А какой день был хороший, суббота, шли лесом, лето, прогулка, все близкие, места знакомые. Впереди поляна большая, на ней толпа. Какие-то люди перемещаются, натываются, огибают, обходят, но все по кругу, все по кругу.

Мы вошли, вернее, оказались, мы в середине уже и сразу – тьма. Повязка. Деревья, солнце и – тьма. Дочка, жена, остальные?.. Где, где?!.. Когда вытягиваешь руки, то чужое: плечи, рубашки этих впереди, сбоку идущих людей. Но у них как будто – вспомни, точно, – у них не было повязок, а как слепые все равно, и все по кругу. В спину толкают. Куда? Когда не видишь ничего, звуки резче, шевеленья, вздохи толпы. Нужно только понять. Главное, двигаться с ними дальше, а то собьют. Это не танец явно, вперемешку, хаос. Нога во что-то попадает, ведро? но не жестяное, не глубокое. Похоже, похоже шляпа. Такая шляпа – тулья плоская, и круглые, очень большие поля. Бориса шляпа. Пижон, мальчишка, жи-во-писец, до плеч из-под полей бурные кудри. Нога... Еле, чуть не упал, вытащил ногу. Где вы? Дочка, жена, Борис, Роберт-«Роб»?.. Нет. Лишь по траве шуршанье подошв. А если крикнуть, позвать?! Почему не получается крикнуть?.. Раньше слышал: когда операция и слепые глаза, то вдруг видишь линии, красные, синие, а то квадратики, красные, синие. Но когда здоровые, когда закрыты плотно глаза, то появляются, ведь появляются иногда даже вроде живые, так сказать, перед тобой картины, пропадают опять, туман, и другое что-то. Коридор вижу вот, комната будто знакомая, только она пустая, двери распахнуты и никого, ничего, один в пыли абажур висит. Так они умерли оба давным-давно... Мы живем на пятом этаже, мы все соседи: Борис, Роб в квартирах соседских. Мальчишки. Робу двадцать, Борису, правда, больше, и все за Владой, моей дочкой ходят. Когда переехали сюда, лес вообще был рядом, и тут же, точно: «Явились мошки на людях по всей земле...» И – в глаза, они кусали в нос, в уши. Под абажуром у зажженной лампы вечерами зудели, кружились, бабочки бились крыльями, обожженные падали вниз. А потом стало все меньше, меньше, и нет уже их – удалялся лес, срубили, спилили деревья неподалеку, утрамбовали площадку, вбили два столба...

Кто, кто мою шляпу сбил?! Что за люди! Как стадо. Волосы прямо в лицо, и так ни фига не видно. Ну, что делать будем, дорогой Боря?.. А? Стоп. Стоп! Кажется, я что-то вижу! Сквозь повязку. Да! Чудо... А читал где-то: мозг видит без глаз. Это как? Но я вижу, или сдвинулась, не так плотно повязка? Под ногами уже грязь, лужи, натоптали, и ямы. А все так же идем вкруговую. Может, они так всегда идут? Сплошь видны края штанин разных, а то почти одинаковых, ботинки, а то босые ноги шлепают, женские туфли вон на каблуках, не Владины туфли. Похожие туфли были у... Но туфель похожих сотни. Сотни. А главное, ноги совсем другие...

Ой, не могу больше, юбка какая жаркая и правый каблук кривит, отрывается!.. А как противно, запах такой едкий мужского пота, толкотня, и туман в глазах. Что, помочь хотела?.. Но она ж умирала, Оля, а он не пришел! Солидный, семья, дети взрослые, трус! а она так его любила, звала его, сколько они тайком, а теперь испугался, узнают все, но она ж умирала, а он не пришел! Я единственная, я хотела поэтому. Чтоб он пришел, я просто поэтому. Я ж единственная подруга...

Но все же, неужели там бабочка осталась, внизу в занавеске? Запуталась? Когда ты в комнате один, и тишина, все время прерывистый шелест крыльев, бьется. Но какая бабочка, это ведь не летом, зима. Почему в памяти неизвестно что. Идешь, все идешь, и словно укачивает

тебя. Всегда сторонился толпы, а ты в толпе, словно течение, и повязка. Видишь только одни лишь собственные свои «картины»: Влада, дочка прошла через комнату, тоненькая, светлая она, в легких брючках до колен. А как хочется увидеть ту, любимую. Когда был так молод...

Какой была когда-то. Нет. Все зыбкое, лица исчезают. А тело в каких-то тонких иголках со всех сторон. Это что? Или тоже застряло в памяти, но совсем уже дальше: особый душ, металлическое у него круглое пространство и, кажется, в металлических перепонках, откуда со всех сторон, как стальные иглы била вода. Но теперь вроде не вода, а именно иглы со всех сторон, но не больно. А, может, это самый без боли выход со всем покончить. Навсегда: как кукла тряпичная бескостная, протыканная иголками острыми со всех сторон. Потому что всю жизнь так помнить ее... – Да кто вцепляется?! Вцепился, это кто?..

– Это я, я Роберт, Роб, меня толкают, где вы? Не уходите!

Оттолкнули, чужие. Где теперь Владин отец? или он позади, ничего не вижу. Глаза... Значит, меня поймали, в чем? Но я-то нормальный, я взрослый, я же взрослый уже человек, разве я мог даже конкретно представить, что я смогу... Нет, дело, наверно, в чертовых снах и еще. Я ходил вчера, да, сдавать кровь донорскую, какой-то человек сидел в углу, это он сказал: «добренькие? а теперь по группам крови можно четко определять, что за душой у тебя». Бред! Вранье! Я же только думал, только думал, как если бы... Отпустите меня, слышите! я не виноват! У меня вторая группа, хорошая! Вторая группа крови, слышите! А-а, яма... Я в яме! Руку! Дайте руку! Помогите, я не виноват. Я не сделал ничего этого! Помогите, на голову мне ногами! За что вы по мне ногами?! А-а...

Но всё, Боря, уже позади, всё это позади. «Роберт»... Имя какое, а какой слизняк. Поганец, поганец. Я же понимал всегда по его глазам, как хочет он... Да слабак, да он вообще непригоден ни за что для жизни. Нежненький, смазливенький, они непригодны и погибают все равно! Может, и не все, правда, может, и замечательные были люди, но у кого талант, не внешне, а талант или хоть что-то, и как-то прожили, жили без кожи, как говорится. А у него нет. Нет! Меч-та-ния. А силы никакой. Даже сны его дурацкие или тоже придумывал? Как живой ему скелет снился, говорил, ходил, голый череп, пустые глазницы, ребра. Идиот. Идиот. Упал, яма там, чуть не с головой, что ли, в слякоти. И сам-то я споткнулся, наступил. Но нечаяно! Нет, нечаяно!.. Наступил на голову ногой...

– Дочка? Слава Богу! Наощупь, дочка – ты?

– Я.

– Мы остановились, слава Богу. Что происходит?

– Передали, человек какой-то, пожилой, ударил женщину, кричал: «Чего мешалась, вся жизнь сломана!» Слышал? Кричал, или не слышал? У ней каблук отлетел, упала и...

– И что?

– Да не знаю я. У меня повязки больше нет, я свободна. Я ухожу, папочка. Как вы меня оба в детстве мучили, забыл? Но я-то не забуду, все мое детство тяжелое. Все. Теперь своя у меня жизнь. Моя, понял, па-поч-ка? Я ухожу, а вы как хотите...

Когда, отчего не понял, остановилось движение, так эти все новенькие, у которых были повязки, а теперь нет, стали сразу отходить. Это им, чтобы идти с нами вместе, нужны были им повязки. Даже слышал, говорили, кто им надевал, чтобы быть как мы. А мы, мы по-прежнему шли все вместе. Когда в толпе, то вместе, и запахи просто человеческие, боязно не чувствовать хоть кого-нибудь близко, и этот туман в глазах. Мы шли, шли по-прежнему гурьбой. А потом уже и тумана не было, остановились тоже, но куда?! куда?.. тоже принялись расходиться. И я остался один. Стоял под деревом, ракета была, хотя не очень я разбираюсь в деревьях, пустырь впереди, лужи, место незнакомое, где лес? Стоял, все стоял теперь, куда податься?.. Один. Не могу я один! И идти куда сейчас? Как? А вон там люди. И сюда идет кто-то, ну скорей, ты,

скорей! Ох, Господи, как хорошо. Но кто это?.. Но он же умер, я слышал, он умер на поселении, да... Чур меня, чур! не подходи! Я же не мог никак, друг мой, друг, тебя защитить, тогда боялись все и я... я не мог... Боже мой, это не он. Боже мой, это Боря! – Боря, здравствуйте, Борис!..

Что за тип, да что ты от меня хотел?! И не знал его никогда! Бормочет, за руки хватает, сосед, мол, у нас во дворе говорили, картины ваши по телевизору смотрел, так нравится, очень, очень нравится. Тьфу. А противный какой. Какой плюгавый старичок, и костюм этот черный летом, галстук, чиновник, верно, был мелкий. А лица, ну никакого нет, только борода «цивильная». Ф-фух. И вместе хочет, идти вместе, «друзья», не отпускает. Еле свои руки у него вырвал: вам вон туда, вон туда, а мне туда. И шел потом быстро, и не оглядывался, еще потрусит за мной, догонит... А я-то гада этого искал, кто Юлю ударил, сволочь, Юлю, она упала и – все... Я, конечно, ну не больше, несколько раз, так, жил с ней. Но хорошая тетка, жалко, Юлия. А какой гад, сволочь, она ж не за себя хотела! Не за себя. Найти его только. Убежал?.. Вот и пустошь кончилась, и слякоть эта, опять кусты, деревья, перелесок, избы, все крапивой заросло, деревня. И треск какой-то слышен. Он спиной ко мне стоял, толстый, в клетчатых длинных шортах, футболке, ноги волосатые, не видел, что подхожу, и отдирает топором, поддевая, забитое досками крест-накрест окно. Купил раньше пустую избу, наверно, а теперь прогнала семья или сам пока сюда. Убийца просто. Отодрал одну доску, пот вытирает рукавом, не видит, не слышит, кто стоит в десяти шагах. Да?.. Не слышит. А никто вообще ничего не слышит. И не видит вообще... Медленно, чтобы не хрустнуло под ногами, тихо поворачиваюсь, ухожу...

Чужие такие руки обняли меня сзади, я аж вскрикнула, а он повернул к себе. Борис. Так близко, так никогда... Пухлое лицо его, кудри, и его нос, и эти мясистые губы близко так... А глаза. Они глядят, требуя: скажи, наконец, скажи, я тебе не сопляк, мальчишка, скажи! Я-то люблю тебя, я... «Люблю»? И изо всех сил я вырвалась и оттолкнула сразу. Ишь ты, это ты что ли принц, кого девчонки себе представляют дуры?! Губы подбери. «Не сопляк». А это только считается хорошо, когда тебя старше, но так хорошо это, когда нравится. Сильный. А если опять, как мамина-папина дочка слушать: надо делать так или делать вот так, о-пы-т. Пошел к черту. У меня жизнь впереди. Моя. Колледж сейчас закончу, с подружками пока в общежитии, не выгонят, поживу, а работу... Работу найду! Теперь и начальники, кто с головой, не намного старше. Да. А он все стоит, этот. И чего стоишь? Чего смотришь? Я же прямо дала понять!

– Стою. И что. А куда пойдешь, дурочка. Почем лихо знаешь? Потому что чего стоит человек не по внешности смазливой определяют, да. А я тебя люблю и сделаю все, чтобы было тебе хорошо в жизни. Я самостоятельный человек, понимаешь? Выставки, заказы и прочее, прочее. Я все сделаю, все.

– Слушай, ты Роба не видел?

– Я?.. Нет.

– А мы все вместе были, слушай, все время. Слушай, давай мы поищем, а.

– Поищем?.. Ну, хорошо. Дай руку. Я представляю где мы. Возьми под руку меня. Так. Идем сюда.

«Сюда»?.. Он что точно знает где мы? Ишь ты, знает, точно. Посмотрим. Иду. Держу под руку его и иду, стараясь в ногу, хотя сбиваюсь, но опять иду рядом. Только не отставать, рядом, не отставать. А какие крепкие у него руки, какие мужские у него такие крепкие руки...

Я спиной стоял к нему, конечно, но чувствовал, как подошел, как остановился невдалеке. Смотрит. Тихо, на цыпочках прямо подошел.

И только когда уходить стал, я обернулся и узнал его, Боря. Хотя видел мельком всего один раз с этой проклятой Юлькой, любовник ее был, что ли. А мне сказали, что произошло с ним. С ним... Не с ним! Теперь, если б спросил, зачем, мол, я ударил ее, а я ему: а вы? Что вы?.. Нет, нет, вообще никакого прямого убийства нигде не было. Ничего логического не было. Начисто. Ничего. Ясно?

Значит, уходишь. Уходи, уходи. Как ты еще выберешься отсюда. Что за чертово место, и сам плутал тут, а казалось, ну знаю прекрасно, где деревня, эта изба. А пойдешь ты. Сюда подойти ну никак не мог, все в крапиве по плечи, и натыкался все не на эту, на развалюхи, черт их побери, развалины. Просто после всего, конечно, голова кругом. Наконец на спине лежу, в избе на широкой лавке. Полутьма – только на одном окне отодрал доски, не было сил. Такой ты «спортивный дядя», толстяк... В общем, всё. Кончилось всё, и всё надо опять сначала. Сколько лет без угла, и уже тридцать было, а потом семья моя! свой дом, дети, хорошо всё, годы! Проклятая Юлька влезла, зачем?! Разве мог я идти туда, на похороны Оли?.. Спать как хочется, лавка без матраца, да все равно... А дверь настезь, и входит он, и в руке у него лом короткий – монтировка! Вернулся?! Ах ты!.. И прыжком, опрокидываю с маху стол на него, и стол в него рушится. Но я не в избе почему-то, он гонится за мной, близко! Так это... Это уже сон, и я во сне понимаю, что это сон, и его вижу во сне. Но какой отчетливый сон. Не проснешься. И уже в какой-то непонятной клетке, позади стена, и этот стоит перед решеткой передо мной, сейчас ворвется с ломом... Быстро нагибаюсь, в обеих кулаках у меня песок из кучи под ногами. Войди только! Я тебе брошу в глаза песок, и ты ослепнешь сразу, навсегда. А он стоит, не двигается, смотрит. Какой он жалкий. И я выбрасываю песок на землю: ты не сможешь второй раз. И я слышу, как я хохочу во сне. Хохочу! Я отчетливо слышу свой хохот...

А мы все идем через лес. Почему кажется мне, что она со мною, рядом, дочка. Минуту всего назад звонила жена (это в кармане у меня заработал сотовый телефон, наконец): – Где ты? Я уже дома. Где вы оба? (это жена) Где ты? Не знаю. Я все иду через лес. Дочка моя не вернулась ко мне. Разве перед ней я был виноват? Все неправда про «тяжелое детство». Какое же оно было «тяжелое». Неправда. Просто так кажется мне очень ясно, и, может, не только мне, вся наша жизнь – словно она из цепочки самых разных жизней. И в каждой такой разной жизни поступаешь иногда, бывает, точно – ты это не ты. Я слышал у приятеля как-то запись (все к тому) собственного голоса своего в магнитофоне. Это был не мой голос. Совсем другого человека. Конечно, в записи, говорят, меняется, но главное, нет, мне кажется, в другом. Почему-то ощущаешь яснее вдруг твою подлинную интонацию, не так заметную раньше. Когда ты фальшивишь, когда ты груб, слышно резче. Если таким голосом и с маленькой дочкой. В общем, понимаешь больше, кто ты такой. Я иду через лес, а все идет жизнь. Мне было ровно двадцать, как Робу сейчас, это было так давно. Я и мой друг вечером провожали нашу девушку, мы не признавались еще ей, и, может, вот сейчас это будет. «Я провожу», – сказал он, не глядя на меня, и взял ее за руку. Что я должен был делать?.. Вот скажите мне сейчас, что я должен был делать? Ну что тут такого, если провожаем, как всегда, и в следующий раз я буду. Но следующего раза уже не было никогда. Они поженились через год и уехали в другой город. Я люблю ее всю свою жизнь. Но понимать ясно стал только потом. Это правда, что самый главный, истинный признак, если отвечаешь всегда, за то, что содеяно тобой. Через восемь лет, когда моя дочка родилась, я согласился: ну пусть будет и у меня семья, расписались. А я получил открытку без подписи, без обратного адреса: «Желаю счастья жизни. Виновата». Я давно знаю, узнал, что он ее бросил скоро, и что оба они умерли давным-давно. Почему шли все по кругу? Но теперь я иду один. Я узнал тогда ее адрес, но разве можно оставить дочку в располовиненной семье?.. И я не поехал, я-то, поверьте, не виноват. А я... я люблю ее, и кажется мне иногда – нет, это не мистика никакая и не фантазии, – что слышу я такой знакомый ее голос: – Родной мой! – Ее любимый голос: – Родной ты мой... Уже под вечер, поздно, я

вошел в угловой наш магазин продуктов. Народу не было в такой час. И за прилавком, в том месте, где пошире, толпились знакомые продавщицы, глядели, как разучивают бальный танец две девушки из гастрономического отдела. Армянскую девушку зовут Медея, а вторую Наташа.

2008

СНЕЖНЫЙ ЗАРЯД

«Заряд – снег при ветре, летящий полосами, между которыми встречаются ясные пространства».

Люция Баренцева моря

I

Сопки были белые, заметенные снегом. Снег лежал давно и обледенел, и тем, кто брел впереди, казалось, что они идут по стеклу, пупырчатому, очень тонкому – оно проламывалось со звоном. Люди шли гуськом вдоль столбов телеграфа, и море оставалась справа, внизу. С моря дул норд-ост.

У троих были ватники, у четвертого китель, облитый льдом, еще один шел в пальто, а у последнего – только красный свитер. Но разницы не ощущалось: рукава ватников, кителя и пальто были вырваны с мясом или отрезаны начисто, надеты на босые ноги и пере-тянуты обрезками ремней. Лишь у матроса в красном свитере были очень теплые, на «молниях» меховые сапоги.

Сопки сходили в лощины и начинались снова, совсем разные, как волны – то выше, то ниже, то круче, залитые обледенелым снегом, и все-таки одинаковые. Вверх уходили трехногие столбы телеграфа, такие же оледенелые, и все тот же обледенелый шершавый снег, из снега торчали белые кусты; они качались, их сшибало ветром влево.

У Костина, который был в морском кителе, ослабел ремень на левой ноге. Человек в пальто, бредущий сзади, не останавливаясь, свернул на нетронутый наст, пошел сбоку, по ледяной корке, и корка впервые не проломилась: человек был легкий.

Костин глядел, как медленно, качаясь, проходит рядом по насту человек в пальто. Пальто было коричневое, с широкими плечами, рукава оторваны, как у всех, а полы отрезаны ножом, и из кривых разрезов торчали заледенелые клочья ваты.

Костин смотрел, как он уходит, как обгоняет третьего, который прижимался животом к валуну, опустив голову и вздрагивая, – его рвало.

А под ногами идущих впереди все так же подламывался наст: они шли рядом. Высокий поддерживал низенького, худого: низенький шатался, его мерзлые брюки отдувало ветром, как оторванную жесть на крыше. Брюки тоже были коричневые, но в белую полоску.

Костин не видел полосок, он просто знал, что полоски есть, и верил, что все время их видит, и видит большую бородавку на шее у высокого вот так же ясно, как рукава его тельняшки, – они мелькали на месте оторванных ватных рукавов.

Костин тоже обошел стоявшего у валуна. Останавливаться было нельзя. Дыхание вбивало ветром обратно в глотку, и только слышно, как колотится сердце. На голове человека у валуна было тоже знакомое клетчатое кашне, повязанное как женский платок.

Костин обернулся.

Матрос в красном свитере был еще дальше, внизу, он полз на сопку на коленях. А позади матроса в свитере не было уже никого. Валуны, мачты телеграфа, над ними белое небо, и там малиновая полоса.

И тогда Костин понял, что вместе с ним, Костиным, теперь их только шестеро, и что они – последние, оставшиеся в живых.

II

...В ту ночь Костина разбудила гармошка.

Гармошка играла тихо, но будто у самого уха – за переборкой, в каюте механиков, и Костин, который во сне давным-давно прибыл в порт и ел яблоки, рванул на себе одеяло, укутался с головой. Третий механик опять играл краковяк.

Он играл очень плохо, и еще притоптывал сапогом... И лицо у него нудное, как всегда, а рот наверняка приоткрыт, сияет плешь и из ушей торчит вата...

Костин выругался и лег на спину. Гармошка пискнула и наконец прекратилась. Стало ясно, что судно стоит: было тихо, даже молчал вентилятор, который шумел всегда не хуже машины, а каюту раскачивало все сильнее, и в темноте на Костина со стола начали сползать книги. Они сползали на подушку и укладывались рядом с Костиным. А под койкой каталась пепельница из консервной банки, взад-вперед, и где-то – непонятно где – всхлипывала вода, что-то ухало и стонало.

Костин не понимал, что это стонет на палубе во время качки. Быть может, скрипели и ухали плохо задраенные боцманом двери, а может, совсем другое, но, в общем, это как в песне: «Стальной гигант качался и стонал»... И хотя никакого гиганта не было, а только ржавый рыболовный тральщик, на котором он, Костин, гидролог, инженер, «молодой специалист», болтается почти три месяца, – стонало все равно, и оставалось только ждать: ночь, день, еще день, ну еще сутки, и будет порт, будут яблоки и вино, свежий хлеб, и пора убираться отсюда к чертовой матери!

Костин сбросил книжку со лба, включил свет над койкой и привстал. Было четыре без трех минут.

Судно стояло. Значит, уже поднимали трал, а не собирались спускать, а то б еще спал в каюте сожитель: Геннадий Петрович вставал к каждому тралу, ночью и днем – Геннадий Петрович все же был идиот...

Костин потер глаза и поглядел на свою подушку.

На подушке располагались окурки Геннадия Петровича – они по ночам выпрыгивали из пепельницы. Рядом с окурками покоились все мудрые книги Петровича: «Частная ихтиология», Никольский Г. В., «Определитель рыб...», посередине – «Флора и фауна северных морей», из-под подушки тоже выглядывал «Определитель».

Костин ткнул его кулаком и начал стряхивать пепел с волос, потом сгреб всю «Фауну» с «Определителями» и швырнул на стол. Геннадий Петрович был не просто блаженный, он был растяпа, а ихтиолог потом.

За три месяца плавания и жития с ним в одной каюте Костин что-что, а бахрому на его брюках изучил хорошо. Перед сном эти брюки криво вешались на привинченный стул, а стул торчал перед носом Костина, и каждый раз он отпихивал эти брюки подальше, но Геннадий Петрович не замечал.

Брюки были коричневые в полоску и воняли рыбой, и такие широкие, что, конечно, сооружались еще в те времена, когда дорогой Петрович, такой же щуплый, блаженный и лохматый, ходил студентом в свой идеальный Саратовский университет, вот так же усердно, на все лекции до одной, к тому же ухаживал за своей Наташей.

Костин сплюнул, рывком натянул лыжный свитер и влез в морской китель.

Когда он осторожно прошагал по коридору, расставив ноги, как боцман, было – он помнил это – четыре часа девять минут. Он вылез по трапу наверх, шагнул в рулевую рубку и притворил за собой дверь.

Тут было совсем темно, только светились три круга: круги циферблатов машинного телеграфа и картушка компаса. Она колыхалась от качки, наклонялась то вправо, то влево. И от

медного отсвета тумб телеграфа и призрачного света компаса казалось, что в рубке душно, строго пахнет приборами, а впереди, за черными стеклами, летели влево сплошные полосы снега.

Снег летел параллельно воде и небу. И в дымном свете прожектора с невероятной силой мчались по черному небу блестящие белые нити. Летел снежный заряд.

Костин обернулся: открылась другая дверь – с крыла рубки. Клубами ворвался белый пар, вошел вахтенный.

Он мурлыкал песню и щелкал пальцами. Песня была все та же: «Я не поэт и не брюнет» – на вахте Владя, третий штурман.

Владя осторожно потряс кудрями, стряхивая снег.

Кудри были очень красивые и тугие, поэтому Владя всегда ходил без шапки, и второй штурман называл его «молодой Пушкин», но Владя только улыбался.

«Одесский порт, одесский порт...» – мурлыкал Владя. Он прижался лицом к стеклу и глядел вниз, на палубу: там все еще поднимался трал.

Костин молча стоял в темноте, слушал, как воет ветер, и подумал, что Владя такой же Пушкин, как он, Костин, Николай Второй, только кудри да толстые губы, а лицо у Владички томное, будто наелся шоколаду.

Костину тоже недавно исполнилось двадцать три, но рядом с Владей, с его кудрями и глупой песенкой, рассказами о «приятных девушках», Костину всегда казалось, что он, Костин, выглядит почти капитаном – совершенно солидным.

(Конечно, в Ленинграде, когда еще учился в институте, он и сам любил танцы, и знакомых девушек было много, но это совсем другое: настоящая жизнь, и танцы отнюдь не под гармошку, а Владя – это почти примитив, ему все равно – только б юбка...)

– Волосаны! – вдруг хриплым басом заорал штурман и неистово погрозил в стекло кулаком. – Ах, волосин несчастный. Да «джильсоном»... – простонал Владя, – «джильсон» давай! – и, рванув раму, высунулся из окна.

– Паламарчук! Аллю! «Джильсоном» тащи! Не слышишь!! Шпрехен зи дойч... – Владя плюнул и поднял рупор. – Диктую по буквам. Возьмите, сэр, пальчиками эту веревочку с этим крючком и прицепите к этой подборочке. Вопросы есть? Во, во, я говорю – хорошая погода. Одуванчики пахнут, сэр Паламарчук. Не пахнут?! – морщась от ветра, он приставил рупор к уху, – Ах, «чего еще»?! – и высунулся снова.

– Еще я очень хочу, чтоб вы вышли крестиком ваш красный джемпер, сэр Паламарчук, и пошли гулять со мной по Дерибасовской. Вопросы есть?

Он со стуком поднял раму и удовлетворенно обтер лицо, мокрое от снега.

– Воло-сань!!... – и рассмеялся, замурлыкал тихо: «Одесский порт, одесский порт... Воло-сань, волосаны», – совсем развеселился и, уже по-детски выпятив губы, натягивая обеими руками свой яркий-яркий клетчатый шарф, закружился по рубке, огибая в танце медные тумбы и распевая: «волосаны, волосаны...»

Костин чихнул и ехидно крякнул.

Владя споткнулся. Теперь даже в темноте было понятно, как он краснеет.

– Какая глубина? – бросил сурово Костин.

Владя пожал плечами:

– Было двадцать два. – Он опять, не оборачиваясь, глядел в окно, будто нет никакого Костина, а только работа и вахта, подъем трала и снег.

– Почему не разбудили при спуске трала? – все так же допрашивал Костин и вдруг понял, что спрашивать просто глупо, что Владя только заступил на вахту вместо заболевшего второго штурмана и вряд ли может знать, и Костин сам покраснел, уставился в окно.

Он увидел сосульки, свисающие под полубаком; на тросах тоже свисали, качались сосульки, а в прожекторном свете блестела на палубе вываленная из трала рыба – ее опять

было очень мало. В ней копошился маленький Геннадий Петрович в старом ватнике, что-то собирал и бросал в ведро – «надо понять причину ухудшения сырьевой базы моря...». А матросы лопатами сгребали в кучу эту треску и сайду, и очень старался, но скользил и падал «сэр» Паламарчук – самый безобидный матрос на корабле, плавающий первый рейс. Рядом, в рыбе, вздымалась туша полярной акулы, огромная, шершавая – опять акула попала в трал, – и помощник тралмейстера Гусев, страшно высокий и тоже очень старательный парень, прозванный лаборантом Геннадия Петровича, зачем-то резал ножом ее никому не нужную мертвую морду, серую и тупую...

– Морьяка на руль! – вздохнув, скомандовал в рупор Владя, – Потопали дальше. Прошу, гвардейцы. Даем ход. Сэр Паламарчук, ты очень храбрый – прошу на руль...

– Будем брать станцию, – тихо сказал Костин. – Разъясню по буквам: замерим придонную температуру.

Владя обернулся.

Костин неподвижно смотрел в окно, как работают люди.

– Ветер норд-ост, – буркнул Владя. – Сносит к берегу. Наука не пострадает, а рыбы нету – и так ясно.

– Это всего пятнадцать минут...

Штурман пожал плечами.

– Паламарчук, отставить. К гидрологу на лебедку – макать батометры. Только мигом!

Костин взглянул на часы. Было четыре двадцать восемь минут.

Он надвинул на лоб ушанку и рванул левую дверь, на крыло рубки, окунулся в сырой туман.

Он с трудом добрался до гидралебедки на корме и дернул веревку чехла – веревка зацепилась, брезент заледенел, потом вдруг стало светлее: закачался рядом переносной фонарь, Костин увидел Паламарчука, вылезшего наверх.

Матрос, шмыгая носом, присел рядом на корточках, и прямо перед Костиным моргнули его печальные и добрые глаза.

– Гляньте... – выдохнул он в самое ухо. – Чуток правее. Там, может, берег!..

Костин тоже взглянул за борт, но ничего не увидел, только летела черная косая стена воды с белыми клочьями пены, туда мчался снег – ветер дул в спину, качало страшно, и стало ясно: батометры оборвутся, нельзя опускать.

– Беги в рубку! – крикнул он со злостью Паламарчуку – Опускать не будем! – и, выхватив фонарь, повернул в будочку гидролаборатории.

Дверь в нее была полуоткрыта и скрипела, держалась на длинном откидном крючке. Костин сбросил крючок и, придерживая ручку двери, шагнул сюда, в это тепло и свет, а на него с лаем рванулась собака, и Костин, вздрогнув, замахнулся на нее фонарем. Опять дворняга Гусева забралась греться...

У дворняги была морда овчарки с яростными клыками и кличка Пират, а сама очень странной масти – розовая, в рыжих пятнах, да еще маленький хвост крючком.

Но собака не отступала, ее уши прижались к голове. Тогда, помахивая фонарем, криво усмехнувшись, Костин сам отступил назад, потому что глупо драться с Пиратом, и под бешеный лай собаки выскочил наружу, захлопнул и запер дверь.

Сбоку снова ударил ветер, но все равно было слышно, как в деревянной стойке брякают за дверью барометры и победно ворчит Пират. Костин погрозил ему в дверь кулаком и сплюнул.

И вдруг с такою силой, с таким отчаянием опять захотелось яблок, что он даже почувствовал на секунду свежий запах и закрыл глаза, и подумал: почему ночью не спит собака, зачем она бежит по кораблю!?. И о том, что не нужны ему рыба и розовая собака, и все замеры придонных температур... На свете дураков больше нет, и надо наконец добиться и взять рас-

чет, потому что важнее в жизни совсем другое, и будь он проклят, Гусев, двухметровый младенец, и дурацкий его Пират!..

Впереди печально взревела сирена – снова летел заряд. Костин услышал грохот машины, всюду задрезжало: штурман уже дал ход. Тогда, взглянув на часы – было четыре тридцать девять минут, – Костин вздохнул и, закрываясь локтем от ветра, побежал на рев, вскочил в теплую рубку.

Сирена смолкла. В рубке горел тусклый свет. Спиной к двери стоял помощник тралмейстера Гусев – «друг собак и морских букашек», смотрел вниз, в воду и снег, прижимаясь носом к стеклу, уши у него казались очень толстыми: лопоухие, как у мальчишки, и очень противная бородавка сзади на шее. На руле стоял все тот же Паламарчук, в своем красном свитере, крутил штурвал вправо, а по рубке беззвучно метался Владя.

– Берег рядом, – не оборачиваясь, пробормотал Гусев, и Владя тоже прижался лбом к стеклу.

– Сколько на румбе? – крикнул штурман.

– Двести семьдесят... – с запинкой ответил Паламарчук.

– Держи двести восемьдесят пять! – Владя отскочил, натолкнулся на Костина. – Хороша станция, товарищ гидролог!! Не дуло? У вас станция, второй «Пушкин» вахту сдает, как на шаланде. – Штурман передразнил: – «До берега девять миль». Девять! А мы где – гляньте на карту!..

Он яростно дунул в переговорную трубку. Оттуда ответило будто из подземелья:

– Машина слушает.

– Турков? Не спишь? Сто шестьдесят оборотов!

– Есть сто шестьдесят...

– Механик пришел? А? – Владя сморщился. – Как репетировалось на гармошке? Давай... – и вдруг, поперхнувшись, полетел от толчка назад.

Посыпались стекла, и Костина с силой грохнуло затылком об телефон, а на него спиной опрокинулся Паламарчук.

И последнее, что еще слышал Костин, – звонок машинного телеграфа, и ошалело кричал штурман:

– Турков!.. Турков!.. Полный назад!..

III

Моторист Турков кинулся к трапу, когда на щите начали медленно меркнуть циферблаты манометров. Но не успел: сгнули в темноте рукоятки, пропал штурвал оборотов, справа тускнела и стала темной медь телеграфа. Свет потух.

Турков вытянул руки.

Пот забивал глаза, скатывался по губам. Все еще пахло маслом, нагретым металлом, только не было грохота, никакого шипения, не дребезжало, машины больше не было – была могила...

Турков осторожно шагнул вперед и вздрогнул: в темноте журчала вода. Выходит, пробойны в ахтерпике и тут, в машинном... Нужно двигаться медленней и все под уклон – трап ближе к корме. Можно еще успеть. И Турков подумал: свет погас в девятнадцать минут шестого. Но сколько прошло до этого – когда выскочили на камни, потом грохнуло об скалы задом, стала тонуть корма, и механик заставил глушить котлы, – он уж не мог припомнить. Может, час?..

– Механик!.. – крикнул Турков и повел в темноте руками.

Совсем заложило уши: там ворочалось что-то надутое, будто резиновый шар, и звенело, а может, звенело от тишины.

– Господи... – прошептал Турков, опуская руки. Механик сбежал, лысая сволочь! Значит, спускают шлюпки!..

Турков рванулся вперед и чуть не упал, прямо в рот полетели брызги, вода доходила уже до колен. Механик всегда был гадом: зачем глушили котлы?! Пока бы машину взорвало к черту, шлюпка давно была бы на берегу...

Турков растопырил пальцы. Пальцы тряслись так сильно, что дрожали плечи. Становилось глубже, железо под водой было скользкое, парусиновые штаны намокли чуть не по пояс и липли к ногам. Надо было уехать в Подольск, а не откладывать отпуск, сейчас бы только вернулся, сидел на берегу в резерве!.. Он с трудом дышал. А то и вовсе не приезжать, и не был бы никогда мотористом Толей Турковым, а тихо работал слесарем на заводе швейных машин и ждал спокойно пятый разряд!..

Слева хлюпнула вода, и Турков послушал: похоже плыли крысы... Он не шевелился, лучше переждать... Одна только Катька ничего не хотела ждать – никаких разрядов, только плакала, что была беременна. Его била дрожь. Будь оно проклято!.. Все прельщала, что у нее своя комната, все, мол, увидят, что он не пьет, что он работающий, что не виноват, если на заводе пока получает мало...

Турков заскрипел зубами и снова тихо пошел вперед, вода поднималась выше, запахло сыростью, как на палубе: от морской воды. Это только у тестя в комнатках жирный запах... вашу мать... Все свое, огород и куры, да еще возили в Москву картошку, один только зять – «нахлебник»! Турков стиснул зубы. А когда Колька приехал в отпуск, с Севера, все называли его – Николай. Приехал в капитанской фуражке, хоть был радистом; с большими деньгами... Но теперь он тоже мог бы вернуться, как Николай, с большим чемоданом!.. Турков поскользнулся.

Слева хлюпало опять и почему-то жужжало. Жужжало странно: пожужжит, пожужжит и стихнет, и снова начинает жужжать...

– Аа-а!!! – заорал Турков и бросился прочь, разбрызгивая воду. Где-то тут был трап. Турков повел руками – была пустота.

– Сюда, – сказал голос, и зажужжало снова, и наконец жужжа, замигал карманный фонарь-«жучок». Турков увидел: трап был слева, а он прошел мимо. У трапа стоял механик в мокрой рубашке, по пояс в воде, и, нажимая на рычажок, жужжал своим фонарем, а впереди Туркова была только вода...

Он повернул.

Фонарь был явно испорчен, свет был тусклый, очень желтый. Чуть отсвечивала на воде, дрожала, качалась пленка машинного масла, из воды поднимались косо железные ступени трапа, а сбоку проступили снова, совсем, совсем смутно, медные патрубки.

– Скорее, – сказал механик, и Турков, задыхаясь, побрел к нему. Механик молча глядел, как он идет, Турков видел, как поблескивает лоб и мокрая плешь механика, а лицо у него неподвижное, как всегда, только щурятся глаза подозрительно, будто Турков опять виноват.

Турков полез за ним, вверх по трапу, и прямо перед его лицом ступали по железным ступеням мокрые сапоги механика, а на Туркова падали капли.

– Ну... – хрипло сказал механик и посветил фонарем.

...Они вылезли из коридора через аварийный трап наверх, на корму, к шлюпкам, вздрагивая от брызг и ветра. Корма была вся в воде.

Слева накатом катились волны. На них кипела, качалась пена, а на месте шлюпок болтались только обрывки тросов и прыгал в воздухе окованный железом блок. Прямо перед Турковым, уже захлестнутая по иллюминатор, белела стенка гидрологической лаборатории, и оттуда, а может, прямо с моря почему-то выла собака.

Что было потом, Турков не помнил. Он сидел, наконец, на самом верху, над рубкой, – на верхнем мостике, обхватив колени руками, и дышал в отстегнутый ворот ватника.

Больше не надо было никуда бежать, карабкаться, шевелиться, это было самым важным. И все тут сидели – никто не уплыл на шлюпках, и теперь очень хотелось спать.

Нос и губы были в тепле, под носом мокро, глаза слипались, от старого ватника знакомо пахло соляжкой и еще чем-то кислым; сзади, от спины Вани Паламарчука, было тоже тепло. Иван не двигался, только иногда вздыхал. В бок Туркова упирался очень твердый локоть, но и это не важно – главное, тепло. Турков все приваливался к этому локтю – рука и плечо были очень большие, как у Паши Гусева, помтралмейстера (кажется, в самом деле рядом сидел Паша «двухметровый»), это тоже удача – закрывал от ветра).

...Все было хорошо, и, конечно, он все-таки немножко дремал, потому что вдруг оказался опять в их каюте под полубаком, в каюте было совсем тепло, за столом сидел красный от пота Паша Гусев в одном тельнике и, засучив рукава, осторожно раскладывал на газетке морских звезд. Звезды были самые разные, большие и маленькие, некоторые красивые, а другие не очень, Паша их почему-то любил собирать, потом всегда формалинил у Геннадия Петровича, и от звезд плохо пахло формалином. И на все эти звезды, и на Пашу, прижмурясь, смотрел из-под койки Пират, стучал хвостом, а на койке по-турецки сидел в больших трусах выпавшийся добрый Паламарчук и снова рассказывал Туркову и Паше, куда он поедет, когда выиграет машину «Волгу» по лотерее, а Паша улыбался...

...Потом пришел Любушкин и звал Туркова забить «козла», но Турков не хотел в «козла». Тяжелый Любушкин был похож не на кока, повара, а на того боцмана, какие бывают в кино; и опять показывал фокусы Туркову и Паше с Паламарчуком, что было здорово, потому что прежде (когда меньше пил) Любушкин работал не поваром, а в цирке. Он решил поднять Туркова одними зубами за ремень – такой силовой фокус, – а Пират залаял, все хохотали, потому что ремень был плохой и лопнул, и Турков шлепнулся на пол... вздрогнув от толчка, от холода и от снега.

Он сидел на верхнем мостике, обхватив колени руками, выла собака, а ремня не было, снизу поддувало: ватник был дырявый и очень короткий. И тогда он понял, что остался у него только этот ватник и больше ничего, потому что надо было сперва лезть не к шлюпкам, а сразу забрать пальто!..

Он привстал, цепляясь за Гусева.

В пальто были деньги, все документы, пальто было совсем новое, не надеванное ни разу... Он только купил его за два дня перед этим рейсом – очень красивое, с широкими плечами, коричневое, теплое, дорогое, в таком не стыдно ехать в отпуск, а отпуск теперь всем дадут, теперь уж наверняка!..

– Спокойно! – сказал гневный голос Степана Мироныча, капитана. – Сидеть спокойно!..

Но не мог он вот тут сидеть, потому что их скоро снимут, а пока нужно добраться до радиорубки забрать пальто: это счастье, что хранил его в радиорубке у Николая, а не в каюте под полубаком – туда уж не дойдешь...

– Паша, – шептал он, хватая за плечи Гусева. – Возьмем пальто... теплые вещи... Пойдем... – У него застучали зубы, он обнял Гусева. – Паша!..

Идти можно было только с Пашей, потому что опять вниз, в могилу, а Паша самый сильный, не боится...

– Паша...

– Спокойно, – сказал тот же голос. Щелкнул фонарь, и Турков увидел, как падает снег на фуражку с «крабом» Степана Мироныча, на дрожащие плечи Любушкина, который больше не был похож на боцмана, а рядом – белое, как стенка, лицо мальчишки-гидролога Костина и тряслась спина механика – он сидел в одной рубашке, а Паша Гусев рукавами ватника стискивал уши, рукав тоже был белый – от снега...

Вой оборвался, и Турков привстал: Пирату все равно конец, потому что на корму уже не пройдешь, а пальто – тут, внизу, в радиорубке у Николая!..

– Товарищ капитан!

– Вахтенный, – тихо сказал капитан. – Паламарчук... Все замерзают. Бери фонарь. Механик, одолжите ему перчатки. Спустишь, попытайся в рубку. Возьми тулуп, теплые вещи – все что найдешь...

– Товарищ капитан, я тоже...

– Пойдет один.

– Тогда я пойду. – Турков взял перчатки, потом медленно повел кругом маленьким фонарем. Все сидели, падал снег. Турков пригнулся и, скользя по ледяному железу, пошел к трапу. ...Он повис на трапе, намертво вцепившись в поручни. За спиной была темнота, ноги уходили косо вперед, короткий трап был перекошен.

Турков заболтал ногами и, разжав пальцы, упал вниз.

Он лежал на боку, на него падал снег. Потом поднялся на четвереньки и вполз на крыло рулевой рубки. Сбоку гремел прибор, небо уже серело.

Он встал, цепляясь за стену, добрался до двери и влез в темноту. Под ногами хрустело стекло.

Он стянул перчатку, сунул руку в карман и понял, что потерял фонарь.

Шаря руками, он пошел у стенки. Слева – штурвал и тумбы машинного телеграфа, справа – дверь в коридорчик, где радиорубка. Из выбитых окон хлестал снег, где-то плескалась вода.

Турков долез до радиорубки и присел в темноте, возле разбитой рации. Лицо было мокрое, очень хотелось пить. Вода плескала уже совсем близко: наверно, затопило доверху и машину, и коридор над ней, к которому лезли они по трапу с механиком, поднималась сюда...

Турков выпрямился, пальто должно висеть в углу. Он наступил на какую-то тряпку, толстый мятый комок, запутался и упал, обняв руками тряпку – это было пальто.

Он стащил с себя ватник, мокрый и очень грязный, запачкает всю подкладку, натянул пальто. Судно дергалось, в коридоре шумела вода. Надо спешить назад.

Турков выскочил на крыло рубки и, задыхаясь, прижал спиной дверь.

У скал грохотали волны, в голове стучало. Он открыл рот, пытаясь поймать снежинку, и услышал, что наверху кричат.

Дверь тряслась, он придерживал ее спиной, тряслась палуба, Турков стоял, закусив губу; казалось, сверху его зовет механик, но никто не звал.

Он стиснул пальцами ватник: в руках был только дырявый ватник – больше ничего...

Тогда он прижал его к животу и медленно двинулся к трапу. Потом развернул ватник и, набросив на пальто, как бурку, застегнул пуговицы у горла – так оставались свободны руки, медленно полез по трапу вверх.

Наконец увидел в сером сумраке железную палубу мостика на уровне глаз и – ноги. Вся команда стояла.

Они стояли боком к нему, вцепившись в поручни мостика. От близкого выстрела Туркова шатнуло назад – ударила косо розовая ракета: сигнал бедствия.

Он прижался грудью к ступеням, потом рывком вылез наверх и тогда тоже увидел розовый летящий снег, лица людей и мачту в волнах.

IV

– Шестьсот двадцатый!..

Паша Гусев крикнул капитану в самое ухо, но Степан Мироныч тряс головой и морщился – ничего не слышал. Снизу от борта со всхлипом взлетали брызги повыше мостика, опять рушились вниз.

– Кажется, точно: шестьсот двадцатый!

Паша повернулся. Длинная завязка ушанки стеганула по горлу – шапка развязалась. Он поймал ее «уши» и теперь держал их в мокром кулаке. Козырек мичманки Степана Мироныча, притиснутого боком к поручням, был розовым от ракеты и в каплях брызг.

– Ты на этом ходил!..

– На шестьсот двадцатом, Степан Мироныч...

Капитан, сжав зубы, пытался вставить в ракетницу новый патрон, но никак не мог вставить – ракетница тряслась. Паша придержал пистолет за дуло, отведенное вниз. Кто-то привалился сбоку и мешал, Паша отстранил его плечом – это был Турков, но не помогло: Турков прижимался к нему.

– Я сам... – пробормотал капитан и наконец всунул ракету.

– Им трудно подойти – шесть баллов!.. – крикнул Степан Мироныч. Паша наклонился: слова относил ветром —...отдадут якорь... могут спустить шлюпку... на ваере... Со шлюпки бросят сюда конец...

Степан Мироныч выстрелил вверх. Все небо кругом стало розовым, висели розовые тучи.

В волнах качался розовый свет, в него нырял и снова выскакивал сейнер. И хотя Паша помнил, что это шестьсот двадцатый, он опять ничего не видел – только розовый блеск на волнах да маленькую рубку сейнера, над ней торчала, подпрыгивала мачта, почти как спичка, и хотелось замахать руками и закричать.

– Кто у них капитаном?..

– Теплов... – Паша перегнулся через поручни, смотрел на сейнер. Идут без трала – значит, все спят... Только в рубке рулевой и Теплов. Теплов всегда сам стоял третью вахту... Самый фартовый моряк в Гослове, с торгового флота!.. Совсем как живое встало перед глазами круглое лицо Теплова, шлепанцы у него на ногах, и снова услышал его присказку: «блях-муха». Паша оглянулся.

Степан Мироныч кивал ему мокрым розовым носом, рядом Костин махал, сигналив, руками, повторял, будто никто не верил, что жил с Тепловым в одной комнате в ДМО¹, на четвертом этаже!.. Сбоку Турков, весь облепленный снегом, без шапки, протягивал какой-то ватник, у него дрожали руки.

– Они не видят! – крикнул Турков.

– Спокойно! – Степан Мироныч схватил его за плечо. – Им трудно подойти...

Упала, блеснув, ракета, Паше показалось, что она сперва вспыхнула на воде, потом погасла... Сейнер уходил все дальше курсом на зюйд.

Паша протер кулаком глаза.

– Спокойно... – прохрипел над ухом Степан Мироныч. – Они дадут радиограмму на маяк! Нам помогут с берега... – Но Паша уже не слушал: позади с ревом и плеском бил и стихал прибой – костедробилка, скалы, «костливый» берег... конец... если даже Теплов не сумел подойти...

...Теперь он стоял сзади всех, лицом к берегу, прижимаясь спиной к дымовой трубе. Труба была давно холодной, и в нее уже заплескивалась вода.

Паша чувствовал, как по шее за тельник все время сползают капли, они ползли очень медленно между лопаток к самому поясу, и Паша то раскрывал, то опять закрывал рот.

В двадцати метрах от мостика вверх уходили скалы, в белое небо, заслоняя все небо, ржавые от лишайника, косо залепленные снегом. Давно рассвело.

Было очень холодно, хотя ветер стих, Паша знал, что надо завязать ушанку, но уже ничего не мог, потому что пальцы совсем не свои, и опять подумал: четверо погибли сразу, когда раздавило шлюпки – старпом, рыбмастер, двое матросов, а потом... потом утонул Пират, в будке

¹ Дом междурейсового отдыха.

гидролаборатории, когда он, Паша, сидел, не в силах встать... и смыло еще троих с траловой лебедки – они хотели бежать вперед, на полубак...

От полубака теперь остались одни стойки лееров. Паша хорошо их видел, они то всплывали, то снова уходили в пену. А крен был на левый борт, где скалы, рубка погружалась боком, и Паша стал медленно отступать вверх, вправо, за трубу, держа «уши» от шапки в кулаке.

Правый борт был еще над водой, и Паша глянул вниз: висели белые цепи. Они не качались – все было во льду. На круглых бобинцах замерзла траловая сеть, и теперь под цепями это были совсем не бобинцы, а клетчатые ледяные шары, а акулу, у которой вырезал челюсть, смыло.

Он всегда боялся акулу в трале: она темнела в кутке над палубой, длинная, как человек... Это было в середине, нет, в самом конце войны, когда стукнуло шестнадцать: из кутка трала высыпали рыбу, и вместе с рыбой ногами вперед из трала выпрыгнул мертвый летчик. Никто не понял: наш или немец. Он застрял по колено в скользкой треске. Лицо у летчика было черное...

Паша оперся рукой о трубу, труба была тоже черной. Он отдернул руку. Он был теперь высоко-высоко над всеми, над капитаном, видел над скалами сопки – к ним уходили тучи.

– Надо плыть на камень... – Степан Мироныч стоял там, низенький, с левого борта, у поручней мостика, смотрел в воду.

Все, перегнувшись, глядели за борт.

В пятнадцати метрах торчал в волнах обломок скалы: его заливало чистой пеной, и брызги были как снег. Первому надо плыть до камня с пенопластовой бочкой на тросе, остальным: по тросу, а дальше – берег...

– Два градуса, – сказал кто-то и поперхнулся (кажется, Костин). – Два и три сотых...

И Паша понял: градусы – температура воды.

Сердце колотилось так, будто бежал всю ночь, оно билось у самого горла. Он увидел, как стал искать кого-то глазами Толя Турков. Паша прижался к трубе и вдруг впервые заметил, что на Туркове пальто, – значит спускался вниз, когда на корме погиб Пират... Турков любил только деньги.

– Надо плыть, – тихо повторил капитан. И Паша закрыл глаза. Два градуса: десять минут в воде, потом – застывает сердце.

Все молчали.

– Давай, – наконец шепотом сказал механик. И Паша увидел сверху его дрожащую плешь, она была смуглой и мокрой, механик поправил вату в ушах, потом быстро потер ладони, голова его дергалась. Механик был хороший старик... На плечах у него, застегнутый у горла на пуговицу, как бурка, болтался чей-то дырявый ватник, очень короткий.

– Давай! – крикнул механик и с силой рванул к себе трос.

...Они медленно-медленно перелезали через поручни, гремя сапогами, хватались за трос и уходили ногами в воду.

Перелез Турков. Паша стоял рядом. Турков был двенадцатым – Паша считал. Тогда он пропустил вперед Костина. Костин все не мог перелезть – соскальзывали сапоги. И Пашу толкнули в спину.

Он с ходу перешагнул через поручни, ухватился за трос и понял, что он – тринадцатый... Его окунуло в пену и в серый холод, и под водой заскрипело в ушах, будто резали стекло. Он потерял трос, вылетел наверх.

Кругом была пена, его быстро несло с волной. Но холода больше не было, только жгло лицо. Сразу набух ватник.

Паша помнил, что нет спасательного нагрудника, и еще – о траловой дуге. Она теперь где-то тут, под пеной...

Потом ударило в грудь, пальцы нащупали твердое, но очень скользкое, как медуза.

Обеими руками он вцепился в выступ, полез вверх, животом по камню и увидел людей. Они лежали плашмя, подальше от края. Камень был большой.

Пальцы скользили, и вдруг, сперва медленно, потом все быстрее его потянули за ноги, потащило опять назад – отступала волна.

Он вдавил пальцы в мокрую слизь, но все равно сползал вниз на животе и почувствовал, что сейчас разорвутся и лопнут глаза; он был самым сильным на корабле – сильнее всех... И он все еще видел залитые водой лица Туркова, Любушкина, засольщика Васи – они ближе всего к нему... Но Паша знал, что не смогут они протянуть ему руку, потому что их сразу потащит вниз, тоже смочет.

Он удержался на правой руке, на пальце, попавшем в трещину. Ноги стали не такими тяжелыми – стащило сапоги, и он перестал скользить.

Волна ударила сзади, рванула кверху и выбросила лицом на камень.

Теперь справа был мокрый, длинный резиновый шланг с грузилом, прикрученным на конце, и обломок доски, а совсем близко – скалы. Руки казались громадными, страшно тяжелыми, они очень болели.

Сбоку появились ноги Геннадия Петровича, его выбросило рядом, но лицом к морю. Сверху, по ватнику, градом сыпало брызги, а в воде выл человек.

Геннадий Петрович приподнялся на локтях, и Паша тоже глянул назад: трос оборвался, радиста несло вбок, на скалы.

– Коля!.. – крикнул Турков. Все лежали на животах.

– А-вв-ва! – выл и кричал радист. Геннадий Петрович с трудом поднялся на четвереньки, потянул к себе шланг.

– Что же... – Хватаясь за воздух, он выпрямился на скользком камне, пытаясь бросить в воду шланг.

– А-а!!!.. – крикнул Турков и вцепился в камень. Радиста ударило об скалу.

– Что же это... – Геннадий Петрович, пока еще чудом держась на камне, сматывал на руку шланг, как трос, но он не умел это делать.

Паша снова глянул назад. Ближе, прямо из моря торчал мостик, на нем остались трое.

– Держите! – Геннадий Петрович поднял кверху шланг, но его ударило в живот волной, и он упал на Пашу. Паша схватил его за грудь и удержал на камне.

Волна уходила. По лицу Геннадия Петровича катилась вода.

Паша нащупал пальцами шланг. Геннадий Петрович смотрел, слизывая воду языком. Все лежали. Паша зажмурился, потом стиснул зубы и сел. И быстро сматывал шланг, как надо, уже ничего не помня, встал на колени, размахнулся и кинул конец на мостик...

V

Когда они вылезли на берег, было уже совсем светло и с моря опять несло снег.

Они медленно отползали от воды по камням, между камнями лопалась пена, и в ней шевелились крабы. Позади, у самой воды, раскинув руки, лежал ничком мертвый матрос в спасательном нагруднике и без сапог. Голова его была разбита.

Костин подтянул колени к животу и начал вставать. Брюки оказались твердыми, точно из жести, и все в мелких и белых складках. Рядом, прыгая на одной ноге, надевал выкрученные кальсоны повар Любушкин, кальсоны его хрустели и были похожи на белые мятые трубы. У валуна, поджав ноги, приткнулся Турков в ледяном пальто.

– Где мы, Владя? – спросил Геннадий Петрович штурмана, лежащего ничком. Штурман скрипнул зубами, но не ответил, плечи его тряслись.

Геннадий Петрович заморгал, отвел глаза и начал стаскивать меховые сапоги, похожие на унты – в них тоже попала вода. На левом сапоге заело «молнию», никак не раскрывалась, Геннадий Петрович снова неловко дернул.

– Не надо, Владя... – сказал он, тронул мокрые волосы штурмана.

Владя вытер лицо, медленно поднял голову.

– Я... – И отвернулся, посмотрел вверх, на скалы. – Справа на норд – маяк Цып-Новолок, слева – Шарапов мыс.

Костин оперся рукой о камни, на руке ледяшкой блестели часы. Он очистил стекло: часы стояли, на них было ровно семь – остановились в воде.

Теперь было ясно, что попали на «пяточок»: скалы здесь шли полукругом, справа и слева входили в море.

– Я считаю... – начал Геннадий Петрович и замолчал.

У расселины, хлопая себя по плечам и бедрам, все еще прыгал засольщик Вася, хотел согреться. Возле засольщика, как мешок, сидел лысый механик, из уха его текла темная струйка. А по берегу брел Паша Гусев в разорванном ватнике и вел Паламарчука. Геннадий Петрович, моргая, глядел на них. Паламарчук лез по шлангу с мостика вслед за Костиным, позади был Степан Мироныч, капитан умер на камне, значит, Паламарчук выплыл последним...

– Я думаю, – проговорил Геннадий Петрович снова и закусил губу. Щеки его совсем запали, и щетина казалась очень черной. – Надо идти к маяку, – сказал он, наконец. – До маяка всего пять километров, и каждый из нас пройдет.

Щурясь, он поглядел на расселину, механик, прижав ухо ладонью, цепляясь другой рукой за камень, пытался встать.

– Подняться здесь, – продолжал Геннадий Петрович громче и тоже встал. – Идти на север... – и оглянулся на Владю, – на норд. На сопках нас встретят: сейнер дал знать на маяк.

Он подобрал меховой сапог, посмотрел на Васю в тельняшке, потом на Пашу Гусева. Паша стоял в двух шагах, держа за плечи босого Паламарчука.

Геннадий Петрович поднял второй сапог, разглядывая мерзлый мех, сложил сапоги вместе. Мех на сапогах был грязновато-желтым и блестел.

– У меня носки шерстяные, на мне две пары, – заслоняясь рукой от снега, пробормотал Геннадий Петрович, сунул сапоги Паламарчуку.

– Товарищи, – оборачиваясь, спросил он негромко, – у кого под ватником свитер?..

Паламарчук опустился на камни и стал натягивать сапоги. Геннадий Петрович посмотрел на Костина, и у Костина больно застучало в ушах – под кителем был лыжный свитер, но пуговицы ведь все равно не растегивались, потому что обледенели...

Тогда штурман быстро сбросил с себя твердый ватник, потащил через голову свитер и отдал Васе. Вася, дрожа, натянул его на тельник, разгладил складки.

– Погодите... – сказал Гусев и, вложив пальцы в дыру на своем рукаве, дернул его книзу, ватник затрещал. Гусев оторвал рукав.

– Это – на ноги, – пояснил он тихо. – Давайте рукава.

На втором дырки не было, и рукав не поддавался.

Гусев, точно на палубе, машинально отогнул полу ватника – на поясе висели самодельные ножны – и вынул шкерочный нож.

– Держите, Геннадий Петрович. – Гусев резанул по шву и дернул рукав. – Надевайте. – Потом повернулся к Туркову.

Турков с трудом поднял глаза.

– Ну!.. – сказал Гусев, и Турков протянул руку.

Гусев схватил его за локоть и стал пилить пальто по плечу. Оно было толстое и скрипело, и было похоже, будто пилили руку. Турков, вздрагивая, смотрел на нож.

– Есть, – сказал Гусев, и, бросив на камни новенькие коричневые рукава, вытер лоб. Тогда Костин, торопясь, стал рвать с себя китель, ругаясь и соскребывая с него лед. – У, дьявол!..

– Давай, – не глядя на него, сказал Гусев следующему, и механик молча подставил плечо под нож.

– Ребята, – забормотал засольщик, – пояса... на ноги... обвяжем... – Он отстегнул медную бляху, положил ремень на камни, и теперь Костин торопливо потащил из брюк ремень.

Гусев, не оглядываясь, резал на штурмане ватник. Потом наклонился, взял Васин пояс, выдернул бляху и, сидя на корточках, разрезал широкий ремень на ленты.

Турков поднял ленту; он был без шапки, и волосы у него стали совсем твердыми, блестящими. Гусев тронул его за полу пальто.

– Что?.. – прошептал Турков.

– Замерзнешь, – так же тихо сказал Гусев. – Будет вместо шапки... – Он долго резал его коричневую полу, потом встал, обернулся к Костину, и Костин молча протянул руки.

Когда все обвязали тряпки ремнями, Геннадий Петрович, стараясь не спотыкаться, подошел к расселине, посмотрел наверх. С моря на скалы хлопьями летел мокрый снег.

– Я полезу, – пробормотал Гусев и шагнул к скале. – Здесь не очень круто... – Он ухватился за выступ и полез, нащупывая ногами трещины. Все глядели снизу.

– Сюда, – сказал Гусев и подал Геннадию Петровичу руку.

...Костин, завязав потуже ремень на ноге, долез, наконец, до поворота, до куста, что торчал из скалы. Куст был серый и сухой и весь обломан, Костин лез последним.

Он тяжело дышал и снова чувствовал боль в ногах. Ноги, верно, отвыкли ходить по земле – очень ломило голени. Костин пошевелил сперва правой, потом левой ступней, но боль не проходила.

Вверх по расселине, друг за другом, ползли горбатые ватники, расселина извивалась, и Костину чудилось, что по скалам ползет вверх большая серая гусеница.

Он торопливо перелез напролом, через куст, ломая прутья, и приподнялся.

В снегу лежал механик, что играл по ночам краковяк. Из-под тряпок на голове виднелась смуглая плешь.

Костин, вздрагивая, отполз на четвереньках назад, решив обогнуть его справа. Механик был слишком стар... На неподвижных ногах механика, в тряпках, блестела маленькая медная пуговица, и Костин, всмотревшись, узнал свои рукава.

VI

...Сопки были белые, такие чистые-чистые и такие яркие, что больно глядеть, вверх по сопкам уходили провода на столбах, столбы были тоже белые и на трех ногах – подпорках. Обнимешь столб, и сразу совсем не страшно, потому что столбы живые. Гудят?.. Они будто вылиты из латуни: столбы во льду... Паламарчук смотрел вверх, на серые провода, что провисали над головой совсем близко, толстые и лохматые, залепленные снежной пылью. Ударил мороз.

Паламарчук обнял подпорку, на ней была та же мохнатая пыль. А впереди поскрипывал снег, по снегу шел штурман, уходил все дальше, дальше, вверх, за Турковым, и Паламарчук видел их спины.

Он отодвинулся от столба и пошел следом за ними, под проводами. Сильно болели грудь и живот, и голова кружилась, оттого что в воде разбился о траловую дугу. Впереди качались столбы, как мачты, только были на трех ногах и плыли по снегу, а он не шел, он стоял на руле, и там – подальше, над полубаком, подскакивала луна, тонесенькая, золотая, подскакивала вверх и ныряла вниз.

Паламарчук зажмурился, потом тихонько приоткрыл глаза. Впереди все так же, шатаясь, брел штурман, и не было луны. Если б совсем зажмуриться, чтоб вернуться хорошее, хоть что-нибудь, только бы не столбы...

Паламарчук протер осторожно рукавом глаза. Ресницы были твердые и мокрые, и все время слипались ноздри.

Он пошевелил носом, но носа не почувствовал, и не было щек. Он набрал полные руки снега, стал растирать лицо. Впереди, качаясь, плыли столбы. И Паламарчук посмотрел вверх, в сторону, где нет проводов... В селе звали его дурачком, «белявым цыганом», – так раньше звали отца... Отец очень любил лошадей, как цыган, но не был бродягой, но он тоже не был бродягой, просто хотел шофером...

...Почему не взяли в шоферы, а забрали в стройбат под Кандалакшу? Но там увидел, чего нигде не увидишь, – плоское море и дикий берег в красной траве. Море называлось Белым, а вода была серая, из воды торчали чугунные валуны и выходили из моря прямо в траву: была осень, и то не трава – голубика, огненные кусты, а мокрые ели стояли у валунов. И служба была там – просто работа...

«Шпигат... – шептали над самым ухом. – Шпигат...» Что такое шпигат?.. Паламарчук споткнулся и упал у столба, вламываясь по локти в наст. Зачем шпигат? Штурман Владя на вахте все посылал взять «ключ от шпигата», «открыть шпигат»... Но шпигат – это дырка для стока воды за борт, и «открыть» его – все равно, что скусать круглую дырку бублика. Паламарчук зажмурил глаза, то была старая шутка, но разве в шутках дело.

...Никогда так не бегал в жизни, как при спуске трала, – в ветер, по колено в рыбе, тащил впереди на плече все тот же «бешеный» конец – мессенджер, и ржавый гак свисал ему на грудь. И был доволен – впервые за столько лет... Ведь он всегда хотел для себя такого, только не мог сказать: когда нет больше крыш, все тех же дорог и улиц, а тащишь в ветер трос на плече...

– Ваня! Ваня... вставай!..

Паламарчук открыл глаза. Он лежал на снегу под серыми проводами. Лежать было удобно, только трясли за плечо, и тогда увидал над собой страшную рожу с набухшими кровью испуганными глазами, не лицо, а рожу в пушистом инее – багровую и распухшую, повязанную женским платком. И Паламарчук заморгал. В этом чужом лице не было ничего человеческого, но голос был жалобный, хрипящий от дикого страха.

– Ваня... замерзнешь...

Паламарчук с трудом повернулся на бок, упираясь локтем в снег.

Человек сидел перед ним на корточках и все шептал. На голове у него был не платок, а клетчатое кашне штурмана-одессита, и кудри, забитые снегом, были как у штурмана. Но голос чужой.

Держась за его руку, Паламарчук встал и сразу согнулся от боли в животе и груди, вцепился ему в плечо. Паламарчук был выше ростом, и это чужое плечо было как подставка.

Теперь они брели бок о бок по яркому снегу, снег стал рыхлым. Паламарчику казалось, что под его рукой сильно дрожат плечи этого чужого в кашне, и не мог понять, почему он шепчет: «Десять лет», – что это значит, только видел на его раздутой щеке мокрую полосу. И вдруг разобрал, что значит «десять лет».

Это было десять лет тюрьмы штурману за то, что посадил тральщик на камни и погубил людей. И хотя Владя тоже не знал, кто во всем виноват, это не важно, важно только, что он – вахтенный штурман, остался за все в ответе.

Паламарчук молчал, он опять смотрел на столбы, теперь они уходили вниз, и не было больше никакого штурмана, вахт и никакой тюрьмы, и никто не виноват.

Штурман смотрел на него снизу вверх, по обмерзшему лицу его ползли к подбородку слезы.

– Не будет... – пробормотал Паламарчук и левой рукой тронул его за ватник на груди. И вдруг почувствовал себя совсем старым, хотя был всего на два года старше.

– Ничего не буде, – повторил он снова, как ребенку. – Пойдешь до дому, в Одессу.

– Я... я не одессит, Ваня, – сказал тихо штурман и вытер слезы. – Я из Пензы...

Снег доходил теперь до колен, и Паламарчук понял: они давно спускаются вниз, в ложину, и стиснул за плечи Владю, потом тихонько снял руку с Владиного плеча и стал дер-

жаться только за локоть, стараясь идти сам, потому что штурман дышал тяжело и уже спотыкался.

От каждого шага дымилась белая пыль, она оседала на лбу и у самых глаз влажными, совсем мелкими точками, но на щеках это не чувствовалось, потому что щеки были твердыми, как дерево. И Паламарчук опять подумал о Владе, и теперь ему казалось, что он давным-давно знает про эту Пензу, просто это совсем не важно.

Только ногам еще было тепло в меховых сапогах; правда, левый немного жал – у Геннадия Петровича, наверно, маленькие ноги. Ваня пошевелил пальцами на ноге и остановился, и сразу, ожидая его, остановился штурман.

Впереди уходили в сопки Гусев, Геннадий Петрович, Костин и Толя Турков, они казались совсем уже маленькими. Ваня смотрел, как они идут, шатаясь.

Держась за живот, Паламарчук посмотрел на вершину сопки. Он больше не мог идти, и захотел хотя бы представить тех, кто идет сюда к ним на лыжах, с маяка, и он представил: по сопкам шел капитан Теплов с шестьсот двадцатого. И хотя Ваня знал, что такого быть не может, что с сейнера только радировали на маяк, он теперь видел ясно: к ним шел Теплов на длинных лыжах – высокий, как Паша Гусев.

– Сапоги... – прошептал Паламарчук, согнувшись, стискивая рукой живот, и сел в сугроб.

Он потянулся пальцами к «молнии» на сапоге – кончики пальцев были в белых пузырях и двигались очень медленно; хотел дернуть «молнию» и повалился боком в снег.

– Стащи сам, – сказал он, пытаясь вытянуть ноги.

Он лежал неподвижно, а перед глазами все так же медленно-медленно, потом все быстрее расходились круги, будто бросили в воду камень, только круги были розовые и зеленые, попеременно, а потом исчезли, и он увидел черную воду, сбоку бежал по ней блеск от луны, синеватобелый, и вздрагивал.

Он знал, что видел раньше точно такую ночь, и все пытался вспомнить, когда это было, но мешали круги, и вспомнил «Рыбачью Банку» – промысловый квадрат, когда сходились корабли после шторма, редкую ночь, лунную, в ясных звездах, а на палубе чистый снег, и очень тихо...

И снова мелькнули снег и небо, лицо Влады; Паламарчук пошевелил ногами, и, поняв, что Владя взял сапоги, опять посмотрел в воду, но теперь уже совсем черную, без огней и без звезд...

А Владя взял сапоги и пошел и удивился: идти почему-то стало легко, меньше горела ссадина между ног, которую натер до крови обледенелыми штанами, было тепло, он думал о Ване, о сапогах, снова делал громадные шаги, но отчего-то не проваливался в снег. Это было непонятно. А потом почувствовал, что мороз утих, даже стало жарко, но Владя уже не удивлялся.

Все тело было в тепле, захотелось пить. Так тепло было только прошлым летом в Херсоне. Прошлым летом, когда кончал мореходку, когда все из выпуска решили ехать в Заполярье, стояла в Херсоне страшная жара, и он на всех углах пил газированную воду без сиропа, но никак не мог напиться, живот у него раздулся, как барабан, а внутри урчало... Семь-восемь – звали его ребята в мореходке, Владя Семь-восемь, семь-восемь – ни два, ни полтора... Просто фамилия у него была дурацкая: Севосин, Володя Севосин. Совсем не Владя... А он так хотел быть похожим на кого-то другого, очень заметного, ловкого, разбитного, и будто сам придумал себя другим, как придумал себе отца-моряка, другой дом, походку, и всем говорил, что отец служит в Черноморском пароходстве... Зачем? Отец был бухгалтером в пензенской промартели, старый, и без одной руки.

Прямо в лицо летел снег, стало трудно дышать; он знал, что надо идти быстрее, но плохо помнил – зачем и куда. И вдруг все вспомнил, куда идет: назад, поднять ребят, которых он

погубил... Они позади, в снегу: Вася-засольщик, повар Любушкин и еще – лысый третий механик. Их надо вести к маяку.

Он уже давно не шел, а бежал по снегу, но мешали сугробы у самых глаз – потому что совсем не бежал, а лежал все там же, в трех шагах от Ивана, у валуна, без сапог, на правом боку, до горла засыпанный снегом, и было очень тепло. Но все равно пытался бежать, крикнул Васе, что идет к нему, что никого он не бросит. Путались слова дурацкой песни про какой-то одесский порт и что не поэт он и не брюнет...

...Мне бить китов у кромки льдов,
Рыбьим жиром детей обеспечивать...

VII

Турков шел медленно, пытался считать валуны, но от блестящего снега глаза слезились, Турков сбивался.

Валуны темнели в снегу, в стороне от столбов, сверху, как крыши, налипали лепешки снега. Валунов очень много, разных: мелкие, очень гладкие или огромные, вроде куски скалы. И разного цвета: светло-серые, красноватые, просто ржавые. С одного валуна свисают желтые сосульки.

Он пошел быстрее, стучало в голове, и больно стучало во рту, под пломбой.

Тряпки от пальто обматывали голову, как ледяная чалма, сколотая булавкой. Он потянул их ко лбу, пониже. У виска болтался лоскуток, все время подпрыгивал. Когда Турков скашивал глаз, он видел на лоскуте клочок серой ваты – хорошо, что забрал пальто. И поискал глазами Пашу Гусева.

До Паши было теперь метров сто, он давно шел вверх, на сопку, обхватив рукой за спину Геннадия Петровича. Вплотную за ними плелся Костин.

Ветер дул все сильнее, Турков наклонил голову ниже, потом, задышавшись, прикрывая лоб ладонью, опять поглядел вперед. Костина не было – перевалил за сопку. Этот инженер презирал их всех, а сам... сам он был сопляк, пацан и не любил работать. Владя, штурман-одессит, точно называл его: «Хитролог»!.. Господи... – Турков схватился рукой за щеку, замычал от боли: под пломбой било двойной иглой. В Подольске никогда не болели зубы, а тут у людей – от холода! – выпадают зубы, волосы, болит сердце, течет кровь из ушей, как у механика.

Он сдавил пальцами щеку. От боли прошибло потом, сразу ослабели ноги. Почему ушел сейнер?! Где он – капитан Теплов?.. Кругом одни валуны... Надо представить, что это не сопки, иначе совсем конец... Мой подольский пустырь. Теперь на нем сплошь огороды, а раньше была трава по пояс, в ней играли мальчишки, кругом стояли березы... а теперь он идет по пустырю домой, в пальто... без рукавов, и протягивает руки. И вдруг подумал, что ему за это ни перед кем не стыдно, будь оно проклято!..

Васины ремни на ногах ослабели, и лохмотья чужого ватника волочились по снегу, а на левую ногу поверх тряпок была натянута перчатка механика, коричневая от машинного масла; Турков больше не подтягивал тряпок, чтобы не останавливаться, не чувствовал ничего, только зубы... И нес домой зубы: костяную пластинку акулиных зубов, красивую, как белый гребень. Это Паша всегда вырезал и дарил на память, чтобы показывали дома; и было самым лучшим, что живет на свете Паша, которого можно еще догнать!..

Впереди виднелись только следы, их заносило снегом, а наверху, за гребнем сопки, кто-то звал. Тогда он рванулся вперед, протянул вперед руки:

– Иду-у-у! Я – здесь!.. Я жи-вой!

VIII

Не останавливаться, не оборачиваться – экономить силы.

До этого никогда не знал, что можно ощутить свое сердце. Не стук в груди, не биенье и не укол, а само сердце, округлое, небольшое, теплый комочек. Кажется, его можно коснуться ладонью и, правда, держать в руке, защищая. Оно теплое, тонко пульсирует, но стук отдается не в груди, а в левой ключице. Самое драгоценное, что осталось еще на земле и что надо спасти, – собственное сердце. Это оно и зовется – Валерий Костин...

Ни к чему оборачиваться, нельзя спешить... Экономить силы.

Почему ушел капитан Теплов – никогда не понять. Он был самым лучшим, кого тут встретил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.